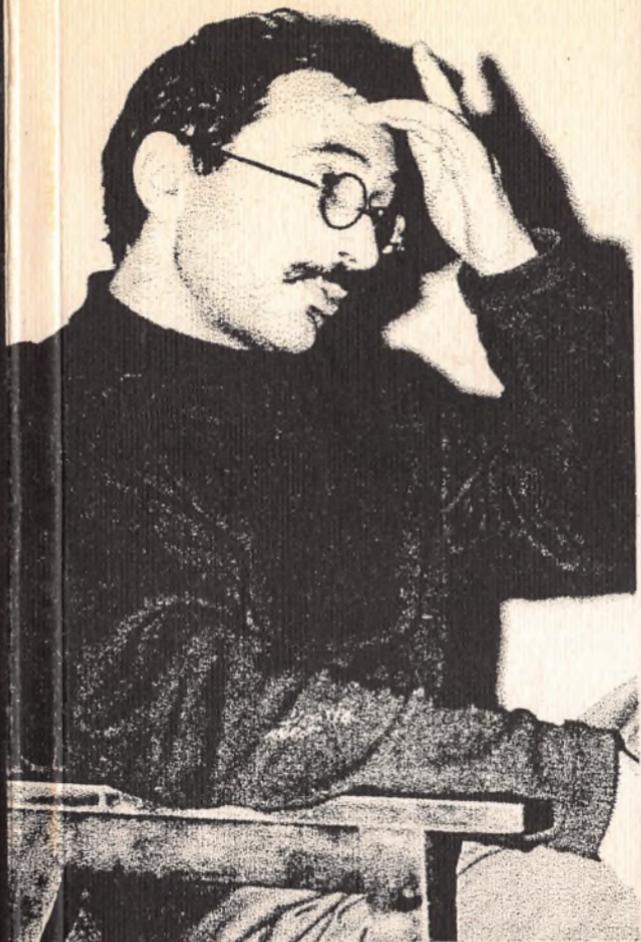


Тимур Қибиров



Тимур Қибиров

Сантименты

Лиқи

ЛИКИ

Тимур
Киби́ров

Этой книгой открывается большая литературно-художественная серия «ЛИКИ». В серии будут выходить ранее не издававшиеся прозаические и поэтические книги современных авторов.

В 1994 году выходят:

Сергей Гандлевский «Праздник»

Игорь Холин «Памятник печке»

Лев Рубинштейн. Избранные тексты

Владимир Микушевич «Будущий год»

Семен Файбисович «Детство Семы»

Генрих Сапгир «Человек с золотыми подмышками»

ТИМУР
КИБИРОВ

Сантименты

ВОСЕМЬ
КНИГ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИСК»
БЕЛГОРОД
1994

ББК 84Р7-5

К 38

Редактор
Юрий Агарков

Художник
Михаил Зайцев

В оформлении использованы фотографии
Семена Файбисовича
На обложке коллаж
по фотографиям Андрея Сытенко

К $\frac{4702010202-01}{\Phi 12(03)-93}$ Без объявл.

ISBN 5-8489-0001-9

•
© Тимур Кибиров. 1993.
© Оформление.
Издательство «РИСК».
1993.

СОЧИНЕНИЯ ТИМУРА КИБИРОВА

У Тимура Кибирова есть основания остаться масштабным поэтом русской литературы. Стихи его прозвучали вовремя и были услышаны даже сейчас, когда чуткая отечественная публика развлечена будничными заботами.

Для азартных деятельных художников — и Кибиров из их числа — литература не заповедник прекрасного, а полигон для сведения счетов с обществом, искусством, судьбою. И к этим потешным боям автор относится более чем серьезно. Прочтите его «Литературную секцию» и — понравятся вам эти стихи или нет, — но вас скорее всего тронет и простодушная вера поэта в слово, и жертвенность, с которой жизнь раз и навсегда была отдана в распоряжение литературе.

Приняв к сведению расхожую сейчас эстетику постмодернизма, Кибиров следует ей только во внешних ее проявлениях — игре стилей, цитатности. Постмодернизм, который я понимаю, как эстетическую усталость, оскомину, прохладцу, прямо противоположен поэтической горячности поэта. Эпигоны Кибирова иногда не худо подделывают броские приметы его манеры, но им, конечно, не воспроизвести того подросткового пыла — да они бы и постеснялись: это сейчас дурной тон. А между тем именно «неприличная» пылкость делает Кибирова Кибировым. Так чего он кипитится? Он поэт воинствующий. Он мятежник наоборот, реакционер, который хочет зашить, заштопать «отсюда и до Аляски». Образно говоря, буднично и прилично одетый поэт вызывает к слушателям, поголовно облаченным в желтые кофты.

И по нынешним временам заметное и насущное поэтическое одиночество ему обеспечено.

В произведениях последних лет (они и составляют предлагаемую вниманию читателя книгу) Кибиров все более осознанно противопоставляет свою поэтическую позицию традиционно-романтической и уже достаточно рутинной позе поэта-бунтаря, одиночки-беззаконника. Кибировым движут лучшие чувства, но и выводы холодного расчета, озабоченного оригинальностью, подтвердили бы и уместность и выигрышность освоенной поэтом точки зрения.

Новорожденный видит мир перевернутым. Какое-то время требуется младенцу, чтобы привести зрение в соответствие с действительным положением вещей. 70 лет положила советская власть на то, чтобы верх и низ, право и лево опрокинулись и вконец перемешались в мозгу советских людей. Именно это возвратное, насильственное взрослое детство и делает их советскими. Именно это — главный итог недавнего прошлого. Все остальное — стройки, войны, культура, земледелие — могут вызывать ярость, горечь, презрение, как ужасные ошибки или намеренное злодеяние, но если предположить, что все это было только средством для создания нас, современников, то напрашивающийся упрек в бессмысленности отпадает сам собой. Цель достигнута, зловещий замысел осуществлен. Здравому смыслу перебили позвоночник. Изощренная условность прочно вошла в обиход. И слово теперь находится в какой-то загадочной связи с обозначаемым понятием. Но об этом уже достаточно сказано в антиутопии Орвелла. Хуже другое: перевернутые понятия стали восприниматься как естественные, незыблемые. Так, например, нынешний «правый», наверное, думает, что подхватил знамя, выроненное Достоевским. Ему лестно, наверное, сознавать себя наследником

громоздких гениев-консерваторов, а не революционных щелкоперов. Понимает ли нынешний «правый», что на деле он внучатый племянник Чернышевского и Нечаева? Что он, консерватор, собирается консервировать? Цивилизацию, где на пачке самых популярных папирос изображена карта расположения концентрационных лагерей, а с торца — Минздрав предупреждает?

С подобной же подменой имеем мы дело, когда речь заходит о традиционном противопоставлении поэта и толпы. Исконный смысл давно выветрился из этого конфликта. Последний исторический катаклизм выбил почву из-под ног романтического художнического поведения и самочувствия.

Буржуазная жизнь, вероятно, скучная жизнь. Корысть застит глаза, праздника мало, конституция от сих до сих, куцая. И поэт, «в закон себе вменяя страстей единый произвол», дразнил обывателя, сбивал с него спеси, напоминал, что свет клином не сошелся на корысти и конституции. Обыватель в ответ отмахивался, осмелев, улюлюкал. Проще говоря, оберегал устойчивость своего образа жизни. Так они и сосуществовали: поэт и филистер, сокол и уж.

Но сокол напрасно дразнил ужа и хвастал своей безграничной свободой. На настоящего художника есть управа, имя ей гармония, и родом она, вероятно, оттуда же, откуда и законы повседневного обывательского общежития. Просто не так заземлена и регламент не такой жесткий. И обыватель не зря окорачивал романтика, потому что подозревал, что гармония ему, обывателю, не указ, ибо он туг на ухо, и если расшатать хорошенько обывательские вековые устои, то он и впрямь полетит, и летающий уж обернется драконом, а окольцованным соколам придется пресмыкаться в творческих союзах.

Поэтическая доблесть Кибирова состоит в том, что он одним из первых почувствовал, как пошла и смехотворна стала поза поэта-беззаконника. Потому что греза осуществилась, поэтический мятеж, изменившись до неузнаваемости, давно у власти, «всемирный запой» стал повсеместным образом жизни и оказалось, что жить так нельзя. Кибиров остро ощутил родство декаденства и хулиганства. Воинствующий антиромантизм Кибирова объясняется тем, что ему стало ясно, что не призывать к вольнице впору сейчас поэту, а быть блюстителем порядка и благонравия. Потому что поэт связан хотя бы законами гармонии, а правнук некогда соблазненного поэтом обывателя уже вообще ничем не связан.

Те, кому не открылось то, что открылось Кибирову — все эти молодые ершистые и немолодые ершистые — не понимают, что они давно никого не шокируют и тем более не солируют: они только подпевают хору, потому что карнавал в обличии шабаша стал нормой.

Поприще Кибирова, пафос «спасать и спасаться» чрезвычайно рискованны, это — лучшая среда обитания для зловещей пользы, грозящей затмить проблеск поэзии. И в наиболее декларативных стихах сквозит сознание своего назначения, рода общественной нагрузки: «Если Кушнер с политикой дружен теперь, я могу возвратиться к себе».

Но эта важность не стала, по счастью, отличием поэзии Кибирова. Для исправного сатирика он слишком любит словесность и жизнь. В свое оправдание он смог бы сослаться на душевное здоровье, еще одну существенную, хотя и не идеологическую причину неприязни Кибирова к романтизму, как к поэтике чрезмерностей, объясняемых часто худосочием художнического восприятия.

Не знаю, насколько справедливо вообще мнение,

что «то сердце не научится любить, которое устало ненавидеть», но к Кибирову оно неприменимо.

Как раз наоборот любовь, чувствительность, сентиментальность дают ему право на негодование.

Ровно потому мы имеем дело с поэзией, а не с гневными восклицаниями в рифму (кстати, рифма у Кибирова оставляет желать лучшего). И любовь и ненависть Кибирова обращены на один и тот же предмет. По-ученому это называется амбивалентностью.

Но проще говоря, он, как все мы, грешные, больше всего на свете любит свою жизнь, а советский единственный быт занял всю нашу жизнь и он омерзителен, но он слишком многое говорит сердцу каждого, чтобы можно было отделаться одним омерзением.

Все эти противоречивые чувства Кибиров описывает в «Русской песне», чудом удерживаясь на грани гордыни.

Именно любовь делает неприязнь Кибирова такой наблюдательной. Негодование в чистом виде достаточно подслеповато. Целый, жестокий, убогий советский мир нашел отражение, а теперь уже и убежище на страницах кибировских произведений. Сейчас это стремительно и охотно забывается, как свежий гадкий сон, но спустя какое-то время, когда успокоятся травмированные очевидцы, истлеют плакаты, подшивки газет осядут в книгохранилищах, а американизированный слэнг предпочитающих пепси окончательно вытеснит советский новояз, этой энциклопедии мертвого языка цены не будет.

Многие страницы исполнены настоящего веселья и словесного щегольства.

Жизнелюбие Кибирова оборачивается избыточностью, жанровым раблезианством, симпатичным молодечеством. Недовольство собой, графоманская жилка, излишек силы заставляют Кибирова пускаться на поиски новых и новых литературных приключений. Заветная мечта каждого поэта — обновиться в этих

странствиях, стать другим вовсе, — конечно, неосуществима, но зато какое широкое пространство обойдет он, пока вернется восвояси.

Словно на спор берется Кибиров за самые рискованные темы, будь то армейская похоть или оправление нужды, но сдается мне, что повод может быть самым произвольным, хоть вышивание болгарским крестом, лишь бы предаться любимому занятию — говорению: длинному, подробному, с самоупоеанием. Эти пространные книги написаны неровно, некоторые строфы не выдерживают внимательного взгляда, разваливаются, и понятно, что нужны они главным образом для разгона, но, когда все пошло само собой и закуражилось, поминать о начальных усилиях уже не хочется. И вообще с таким дерзким и азартным поэтическим темпераментом трудно уживается чувство меры: есть длинноты, огрехи вкуса, иной эпитафия (а к ним у Кибирова слабость) грозит (а об этом говорил еще Пушкин) перевесить то, чему он предпослан. Иногда чертеж остроумного замысла просвечивает сквозь ткань повествования. Но, как не мной замечено, лучший способ бороться с недостатками — развивать достоинства.

Кибиров говорит, что ему нужно кому-нибудь завидовать. Вот пусть и завидует себе будущему, потому что в конце концов самый достойный соперник настоящего художника только он сам, его забегающая вперед тень.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

*Лирико-
дидактические
поэмы*

Зима — весна
1986 г.

Л. Кибировой

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «ОБЩИЕ МЕСТА»

В тесноте, да не в обиде.
В простоте, да в Госкомсбыте.
В честноте, да в паразитах
(паразитам — никогда!).
В чесноке, да в замполитах
(замполитам — завсегда).
Не в обиде, не беда.

Льется синяя вода.
Жжется красная звезда.
Это общие места.
Наши общие места

павших, падших и подпавших,
и припадочных, и спасших,
спавших, спавших,
спящих, спящих...
Нарисована звезда.
Льется пение дрозда.

В срамоте, да не в убитых,
в бормоте, да в Апатитах,
в бигудях, да в Афродитах,
в знатных, ватных, знаменитых,
в буднях мира и труда.
Мы — работники Труда!
Мы — крестьяне Земледелья!
Мы — ученые Науки!
Мы — хозяева Хозяйства!
Мы — учащиеся Школы
Вышей школы ВПШ!

Танцы, шманцы, анаша.
В теле держится душа.
Мчатся в тундре поезда.
Спит в кишечнике глиста.
Это — общие места,
наши общие места

для детей и инвалидов.
В тошноте, да не в обиде.
Нет, в обиде, да не в быdle.
Нет, и в быdle, да не важно —
я читаю Фукидида.
Я уже прочел Майн Рида.
Слава Богу, волки сыты.
Ты-то что такой сердитый?
Ваня, Ваня, перестань.

Спит в желудке аскарида.
Наша молодежь юна!
Наша юность молодежна!
Атеизм у нас безбожен!
И страна у нас странна!

И народ у нас народен!
Иностранец — иностранен!
И печать у нас печатна!
Партия у нас партийна!
Лженаука — лженаучна!
Дети — детские у нас!
Родина у нас родная!..

Нарисована звезда.
Слышно пение дрозда.
Наши общие места.
Ванька-встанька, перестань!
Перестань сейчас же, гнида!

В сволоте, да не в обиде.
Дешево, зато сердито.
Ой, Ванюша, перестань.
Ну, куда ты лезешь, Ваня?!

В Костроме, да не в Афгане.
В КПЗ, да вместе с Таней.
Или с Маней. Или в бане.
Или в клубе на баяне.
Ваня, Ваня-простота.
Пуля-дура спит в нагане.
Это общие места.
Это, в общем, пустота.

Здрассте, наше вам, мордасти.
Из какой ты, парень, части?
Песня душу рвет на части.
Песня, песня, перестань!

Не в чести, да не в убытке.
В дураках, да при попытке.
Это — общие места.
Отдаленные места...

Я читаю Мандельштама.
Я уже прочел Программу.
Мама снова моет раму.
Пахнет хвоей пилорама.
Мертвые не имеют сраму.
Где мне место отыскать?
Где ж отдельное занять?

Человеки человечны.
И враги у нас враждебны.
Монумент монументален.
И эпоха эпохальна.

И поэты поэтичны.
И атлеты атлетичны.
Живописцы живописны.
И преступники преступны.
Звезды — красные у нас!
Экономика у нас
экономная, Ванюша!

Наше будущее будет.
Наше прошлое прошло.
Наше будущее будет!
Наше прошлое прошло!
Это местные места...
Где ж ты, крестная звезда?

В маете, да не в накладе.
В хреноте, да на параде.
Нам, гагарам, недоступно,
Нам, татарам, все равно!
Нарисована дыра,
Льется громкое ура...

Ах вы, гады!
Ой, не надо!
Ой, родименький, не надо!
Гады, гады, гады, гады!

Я-то гад, а ты-то кто?
Дед Пихто.

Я дурак, а ты-то как?
Родом так.

Я в узде, а ты-то где?
В пустоте.

В пустоте
в пустоте
не в обиде
в пустоте
не в обиде
в темноте
в темноте
но к звезде
к той отдельной звезде
в пустоте в темноте
устремляю я взгляд
устремляю я взгляд свой
среди ночи...

вытри очи...
вытри сопли...
вытри очи.



ПОЭМА «ЖИЗНЬ К.У.ЧЕРНЕНКО»

Глава I

ПАСТУШОК

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский. Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП /б/. Трудовую жизнь К.У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков.
«Агитатор» 1984, №5

«Ах, ты, гаденыш, так?!» Огромной пятернею,
покрытой рыжим волосом, схватив
за ухо пастушка, Панкрат Акимыч
другой рукою вожжи уж занес
над худенькой, но гордою фигуркой...
«Панкратушка, не надо!» — слабый голос
раздался, — Милостивец, пощади!
Дитя ведь неразумное, сиротка.
Что хошь проси...» — «Уйди, старик, а то,
час неровен, задену и тебя.
Все вы, Черненки, шельмы и смутьяны.
Вот я уряднику...» — «Родимый, не губи!
Ну, хочешь душу отвести, — меня,
меня уж лучше, старого». Седой
как лунь старик встал на колени, плача
перед мучителем. «Встань, дедушка! Не смей!
Не унижайся!!» — «Ничего, внучок.
Знать, так уж на роду написано...» Ударом

смазного сапога отброшен наземь
в густую жижу скотного двора,
старик затих. Лишь струйка крови алой
текла по седине. И прямо в небо,
в бесстрастное, невнемлющее небо
глаза смотрели — нет, не с укоризной,
с каким-то детским удивленьем... «Деда!
Родимый!» — Костя, вырвавшись, припал
к родной груди. — Ну, деда! Ну, родимый!»...
Панкрат Акимыч, тяжело дыша
сивушным перегаром, осовело
глядел на дело рук своих... «Ты — сволочь!
Ты — гад проклятый!» Слабенькой ручонкой
вцепился Костя в бороду убийцы.
Но был отброшен, — раз, и два, и три,
в слезах, в грязи, в крови... Но тут раздался
спокойный голос: «Что тут происходит?»
— «Тебе-то что? Ступай-ка стороной!
А то очки-то и разбить недолго!»
— «Молчать, кулак!» И браунинг направлен
на брюхо необъятное в жилетке,
и юноша в студенческой тужурке,
но с красным бантом, тою же вожжею
ручищи крепко вяжет мироеду.
А после, глядя Костю по головке,
спокойно говорит: «Вот так-то, брат»...

И много лет спустя, уже в тридцатых,
увлекшись самбо, Константин Устиныч,
в критический момент, когда противник
уже готов был бросить на лопатки
его, всегда старался вспомнить запах
сивушный, взгляд тупой и ощущение
бессилья пред огромным кулаком.
И ненависть ему давала силы
не только устоять, но победить.

ИЗ ПОЭМЫ «ПЕСНИ СТИЛЯГИ»

I

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Фронт закрыт. Все ушли в райком.
Зарастают траншеи ромашкой.
В старом дзоте, герой, твоём
полумрак, паутина, какашки.

Тишиной заложило слух.
За рекой слышен смех девичий.
Гонит стадо домой пастух
в гимнастерке без знаков отличья.

Вот уж окна зажглись. Сидят
у калиток своих старушки.
На побывку пришел солдат,
за околицей ждет подружку.

Кличет мать ребятишек домой.
Фрезеровщик со смены шагает.
Бюстом бронзовым дважды герой
свет прощальных лучей отражает.

Благодать... Распахнул окно
наш второй секретарь райкома,
машинистку из гороно
вспоминая с приятной истомой.

Эх, родимый! Гармонь поет.
Продавщица ларек закрывает.
Над опорами ЛЭП-500
птица Божия в небе летает.

Птичка Божья! Летай, летай!
Хлопотливо свивать не надо!
Весь родимый, весь ридный край
озирать для тебя отрада!

Птица Божья, ты песню спой,
спой нам песню без слов постылых.
Забери нас в простор голубой
на трепещущих малых крыльях!

Птичка Божия, Пастернак!
Хочешь, птах, я тебя расцелую.
Всякий зверь, всякий бедный злак
тянет ввысь свою душу живую...

Долго-долго следит секретарь
твой полет, и впервые в жизни
наши взгляды встречаются. Жаль,
но не чувствует он укоризны.

Птичка Божья, прости-прощай!
Секретарь, Бог с тобой, мудила.
Льется песня моя через край,
глупый край мой, навеки милый.

Это время простить долги...
Птичка Божья, пошла ты на хуй!
Ходят пьяные призывники,
тщетно ищут, кого б потрахать.

Никого не найдут они...
Птичка Божья, пойми ты, птичка,
вовсе я не хочу войны,
ни малейшей гражданской стычки.

Спой же, спой, ляг ко мне на грудь,
тронь мне душу напевом печальным.
Ведь они все равно дадут
мне пизды, говоря фигурально.

Всякий зверь, всякий гад... Прости,
птичка, скрипочка, свет несмелый.
От греха подальше лети...
Фронт закрыт. Но не в этом дело.

Все темнеет. Прости-прощай.
Подкатила к райкому «Волга».
Слышен где-то собачий лай.
Песня всхлипнула где-то и смолкла.



II

ПЕСНЬ О СЕРВЕЛАТЕ

Придается все. Лишь тебе не дано приесться!
И чем меньше тебя в бытии, тем в сознании все выше,
тем в сознании граждан все выше
ты вознесся главой непокорною — выше
всех столпов, выше флагов на башнях, и выше
всех курганов Малаховых, выше, о, выше
коммунизма заоблачных пиков...

Хлеб наше богатство.

Хлеб всему голова. Но не хлебом единым
живы мы, не единым богатством насущным.
Нет! Нам нужно, товарищ, и нечто иное,
трансцендентное нечто, нечто высшее,
свет путеводный, некий образ, символ —
бесконечно прекрасный и столь же далекий,
и единый для всех — это ты, колбаса, колбаса!

Колбаса, колбаса, о, салями, салями!
О, красивое имя, высокая честь!
И разносится весть о тебе депутатами съезда
по просторам Отчизны, и в дальнем урочище, и на Украине,
о тебе узнают и светлеют душою народы.
Стоит жить и работать, конечно же, стоит!
Есть бороться за что.

И от зависти черной жестоко корезит
англосакса, германца и галла.
Нет у них идеалов, и не будет —
пока не придут к нам смиренно

поклониться духовности нашей!
О, этнограф, философ, историк, взглядись же!
Изучи всенародную эту любовь, эту веру, надежду.
Не находишь ли ты, что все это взросло из глубин,
что сказались в явлении этом не только (и даже не столько)
достиженья XX-го бурного века,
сколько древние силы могучей земли, архетипы
духа нашего древнего! Может быть ныне
Возрожденья свидетелем можешь ты стать, Возрожденья
в этих скромных, обыденных формах (о, салями, салями!)
культа Фаллоса светлорожденного, культа языческой радости,
праздника жизненных сил,
христианством жидовским сожженного. И наконец-то
окончательно мы избавляемся от угнетенья,
от тиранства несносного... О, сервелат!
Дай нам силы в борьбе, укрепи наши души!
О, распни Его на хрен, распни Его, суку... Светлее,
все светлее и все веселее. И вовсе не надо,
чтобы каждому ты был доступен — профанация это!
Лишь избранники, чистые духом, прошедшие искусы,
в тайных капищах в благоговейном молчаньи
причащаются плоти твоей...
Но профанам, но черни наивной позволено тоже
поучаствовать в таинствах — через подобья,
через ангелов светлых твоих, братьев меньших...
Лишь я,
только я, да и то не совсем, только я
не хочу тебя. Я не хочу тебя!! Я
запрещаю хотеть себе, я
креплюсь, я клянусь:
ты мне вовсе не нужен!!
Я ложусь на матрац. Забываю про ужин.
Свет тушу и в окно устремляю глаза.
Летней ясною синью сквозят небеса.
Крона тополя темная густо лепечет.
Я лежу в темноте, не рыдаю, не плачу.

Я лежу в темноте, защититься мне нечем.
Я мечтаю дать сдачи, но выйдет иначе.
Только тополь лепечет.
Да слышно далече
пенье птицы.
Не может быть речи
ни о чем. Ничего не случится...

И опять:
сервелат, сервелат,
я еще не хочу умирать.
У меня еще есть адреса, голоса,
у меня еще есть полчаса...
Небеса, небеса. Колбаса.

III

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН

Ускорение, брат, ускоренье...
Свищет ветер в прижатых ушах,
Тройка мчит по пути обновления.
Но безлюдно на этих путях.

Тройка мчится, мелькают страницы.
Под дугой Евтушенко поет.
Зреет рожь, золотится пшеница.
Их компьютер берет на учет.

Нет, не тройка, не дедовский посвист,
конь железный глотает простор,
не ямщик подгулявший и косный —
трактор пламенный, умный мотор.

Формализм, и комчванство, и пьянство
издыхают в зловонной крови.
Отчего ж так безлюдно пространство?
Что же время нам души кривит?

Дышит грудь и вольнее и чище.
Отчего ж так тревожно в груди?
Что-то ветер зловещее свищет.
Погоди, тракторист, погоди!

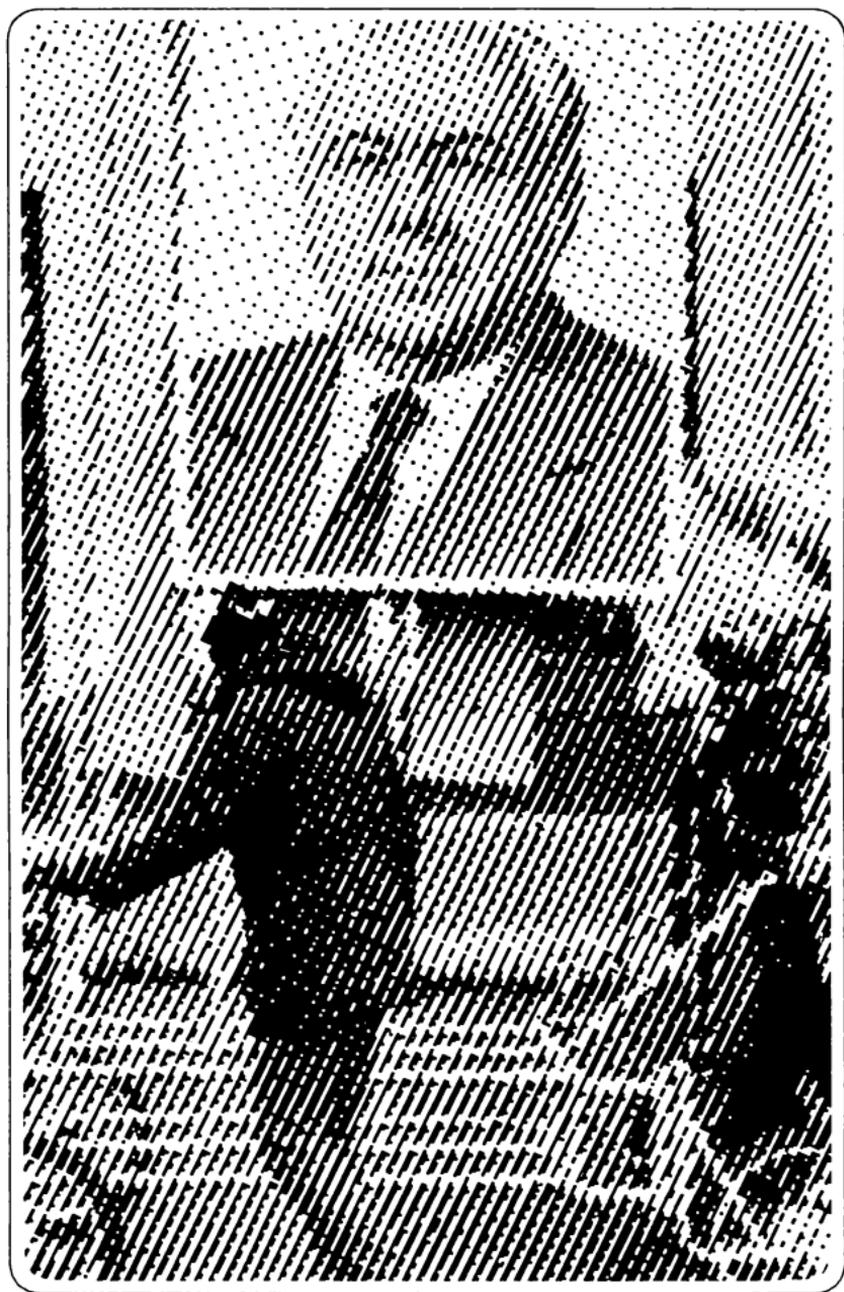
Мчится, мчится запущенный трактор.
Но кабина пуста — погляди!
Где же ты, человеческий фактор?
Ну, куда же запрятался ты?

Постоянно с тобою морока,
Как покончить с тобой, наконец?
Что ж ты ходишь всю ночь одиноко?
Что ж ты жрешь политуру, подлец?

Отвечал человеческий фактор.
И такое он стал городить,
что из чувства врожденного такта
я его не могу повторить.

А с небес и печально и строго
вниз Божественный фактор глядел,
где по старой сибирской дороге
с ускорением трактор летел.

Горько плакал Божественный фактор
и в отчаяньи к нам он взывал...
Тарахтел и подпрыгивал трактор.
Тракторист улыбался и спал.



ПОЭМА «ЖИЗНЬ К.У.ЧЕРНЕНКО»

Глава II

У ДАЛЕКИХ БЕРЕГОВ АМУРА

*Вся его дальнейшая трудовая деятельность
связана с руководящей работой в комсомольских,
а затем в партийных органах. В 1929-1930 годах К.У. Черненко
заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского
райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел
добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил
в пограничных войсках, был секретарем партийной организации
пограничной заставы.
«Агитатор» 1984, №5*

Благоухала ночь раздольным разнотравьем.
«Прекрасный будет день!» — подумал он,
сворачивая в сторону заставы...
Он видел Млечный путь над головой
и слушал пенье птиц ночных, и думал
под гул мотора: «Интересно, как
прошел смотр-конкурс... Надо бы назавтра
собрать актив... Двадцатого субботник
в подшефной школе... До чего ж нехстати
пришлось уехать мне, не вовремя, ей-богу.
Но что тут будешь делать? Если впрямь
у Пацюка дизентерия — шутки
плохие — вся застава слечь могла.
Дня через два подъехать надо в город
и навестить его». Огромная луна
плыла над ним, скрываясь в темной хвое
и снова появляясь. Тишина

в лесу царила, лишь ночная птица...
Но тут он встрепенулся. Отчего ж так тихо? Ведь уже видна застава. И нет перед казармой никого...
Ему тревожно стало. Отгоняя непрошенные мысли, увеличил он скорость, и, подъехав к КПП, он торопливо соскочил с седла мотоциклета, по крыльцу протопал и бросился к дежурному: «Да что тут у вас в конце концов...» и вдруг осекся, увидев два чужих раскосых глаза, уставленные на него в упор.
И третий — круглый револьверный глаз. И, поднимая руки, он успел увидеть распростертого у стенки в нелепой позе старшину и провод оборванный. И дальше все случилось мгновенно — отработанным ударом ноги оружие выбить и связать.
В окошко разглядеть других. Спокойно пересчитать их: 25. Ползком пробраться на крыльцо. Лежать недвижно, И, улучив момент, с гранатой, с криком: «На землю, гады!» в комнату влететь и запереть десятерых в подвале.
И, боль почувствовав в плече, ругнуться, Отстреливаясь и уже слабая, взбираться на чердак. «Ага, еще один готов! Врешь, сука, не возьмешь! Черненки не сдаются!» И отбросить наган ненужный, даже для себя последнего патрона не оставив.
И, истекая кровью, отбиваться (успев подумать: «Вот как пригодились занятия самбо»). И, уже теряя

сознание, последнему врагу
сдавить кадык предсмертной хваткой...

После

народ об этом песню сложит, но
все перепутает и приплетет танкистов
каких-то и разведку. А летели
те самураи наземь под напором
простого партсекретаря.

ПОЭМА «ЖИЗНЬ К.У.ЧЕРНЕНКО»

Глава III

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

После окончания службы в армии К.У.Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии. С 1943 года К.У.Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП /б/. По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии. «Агитатор» 1984, №5

«Ну, здравствуй, Костя, друг! Прости, что долго не отвечал — ей-богу ни секунды свободной не было — мы перешли всем фронтом в контрнаступление... Фрицы уж не те, что в сорок первом, — пачками сдаются. Но все же тяжело, Костя, ох, как тяжело, дружище... Я был ранен в рукопашной, и, честно говоря, когда б не ты, когда бы не твои уроки самбо, могло б и хуже кончиться... Послушай, ты что там мелихлюндию разводишь? Ну, что за глупость в голову ты вбил? И Сталин прав, что отчитал тебя (хотя, конечно, крут он, ох, как крут!) Не стыдно ли такую дичь нести —

«Я не могу смотреть в глаза детей и женщин!» Костя, милый, да пойми же — ты там, в тылу, для фронта сделал больше, чем тысячи бойцов!.. Да ты ли это? Ведь это малодушие, пойми. Твой долг быть там, где ты всего нужнее для дела нашего. И все!

А помнишь, брат, как мы удили на Пахре в то лето? И ты еще учил меня варить уху двойную?.. Как же это было давно. Как в сказке. Как мне не хватает тебя сейчас! Ну, ничего, Костяш! После войны мы первым делом в отпуск и к старикам моим!.. А там рыбалка такая, доложу тебе! Ну, ладно. Пора мне закругляться. Все. Уже артподготовка кончилась. Прощай! Жму крепко твою лапу. Не дури. Жене привет. Твой Ленька Брежнев».

Тихо,

задумчиво с письмом в руке сидел Черненко. Шел четвертый год войны.

ДИТЯ КАРНАВАЛА *

*Набирает правда силу!
Вся надеждами полна
Протрезвевшая Россия,
Ясноглазая страна!*

А.ВОЗНЕСЕНСКИЙ,
газета «Правда»

1

Как ни в чем не бывало,
а бывало в говне,
мы живем как попало.
Не отмыться и мне.

Мы живем как попало.
Нам попало вдвойне
и на лесоповале,
и на финской войне.

На афганской, гражданской,
на германской войне,
и на американской,
что грядет в тишине.

Как не стыдно стилинге,
как же он не поймет,
что медаль «За отвагу»
ватник честно несет.

* Дети карнавала называют неполноценных детей, рожденных от пьяного зачатия.

О, дитя карнавала
с леденцом-петушком,
где-то там, на Ямале,
на Таймыре пустом,

где-то там, на Байкале,
на Памире крутом,
мы с тобой приторчали,
нас не сыщешь с огнем.

О, дитя карнавала,
о, воскресника сын,
что глядишь ты устало
из народных глубин?

Из экранов, из окон,
из витрин, из зеркал,
от Колхиды далекой
до Финляндии скал.

Идут белые снега.
Тишина и простор.
Набегут печенег
и получают отпор.

Набегут крестоносцы —
хрустнет лед, и хана.
Михаил Ломоносов
взглянет в бездну без дна.

О, дитя карнавала,
что ты там увидал,

что раззявил хлебало
на родимую даль?

За твоими глазами
то ли гной, то ли лед...
А по третьей программе
дева песню поет.

4

Ой, погано, погано
в голове и в стране.
Что ж ты, меццо-сопрано,
лезешь в душу ко мне?

Ты не лезь туда лучше —
тьма там только и муть.
Самому в эту бучу
страшно мне заглянуть.

Что ж ты ручкою белой
гладишь медный мой лоб,
на паршивое тело
льешь елей да сироп?

Что ж ты, божия птица,
мучишь нас и зовешь?
Улетай в свою Ниццу,
а не то пропадешь.

5

Фронт закрыт повсеместно.
Все уходят в райком.
Лишь жених да невеста
перед Вечным Огнем.

Парень в финском костюме
(Маннергейм, извини).
Средь столичного шума
молча встали они.

И девчонка, вся в белом,
возложила цветы
тем, кто жертвовал телом,
кто глядит с высоты,

тем невинным, невидным,
кто погиб за мечты...
Что ж ты смотришь ехидно?
Что осклабился ты?

Что ж ты тонкие губы
в злой усмешке скривил?
Хочешь, дам тебе в зубы
у священных могил?

Ну куда ты, стилияга?
Я ведь так, пошутил.
Лишь медаль «За отвагу»
не стебай, пощади. *

Ты не умничай, милый,
над моею страной.
В этой братской могиле
сам ты будешь, дурной.

6

О, дитя карнавала,
о, воскресника сын,
выблядок фестивалю,
большеротый кретин,

мой близнец ненаглядный,
Каин глухонемой,
Авель в форме парадной
что нам делать, родной?

Где-то там, на Ямале,
я лежу в тишине.
О, дитя карнавала,
как же холодно мне.

7

Идут белые снега.
Тишина и простор.
Где-то в устье Онеги
глохнет бедный мотор.

Где-то в центре районном
вечер танцев идет,
где-то в тьме законной
бьет стилиягу урод.

И девчонка, вся в белом,
зачала в этот час —
парню очень хотелось
с пьяных маленьких глаз.

Я не сплю в эту полночь.
Я смотрю на луну.
Полно, Господи, полно
мучить эту страну!

Нам попало немало
и хватило вполне
где-то в самом начале,
на гражданской войне.

Нам попало немало
наяву и во сне.
Так пускай комиссары
наклонятся ко мне,

в пыльных шлемах склонятся,
и клинок занесут,
и убьют, может статья,
да и сами умрут.

Где-то в самом начале,
как на грех, как на смех,
всем гуртом мы напали,
да, видать, не на тех.

8

Где-то в знойном Непале
(он ведь рядом, Непал)
мы с тобой не бывали.
Лишь Сенкевич бывал.

Где-то в Умбрии нежной,
в Корнуэлле седом,
в Дании безмятежной,
в Бенилюксе смешном,

где-то в синей Тоскане,
в Аттике золотой...
Спой мне, меццо-сопрано,
птичка божия, спой!

Чтобы было мне пусто,
повылазило чтоб,

чтоб от счастья и грусти
треснул медный мой лоб!

Чтобы стало мне стыдно,
чтобы стало грешно,
и завидно, обидно
за родное говно.

Чтобы Родину нашу
сделал я, зарыдав,
и милее и краше
всех соседних держав!

Чтоб жених да невеста,
взявшись за руки, шли,
а за ними все вместе
все народы земли!

Чтоб счастливый стилига,
улыбаясь, в слезах,
поднял тост: «За отвагу!»,
встал под общий наш стяг!

Чтоб сады расцветали
белым вешним огнем
как ни в чем не бывало
на Таймыре пустом,

там, в заснеженных далях,
за полночным окном,
где-то там, на Ямале,
где-то в сердце моем...

О, дитя карнавала
с леденцом-петушком.

ПОЭМА «ЖИЗНЬ К.У.ЧЕРНЕНКО»

Глава IV

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

*С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро,
а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС.
Депутат Верховного Совета СССР 7-10 созывов.
Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва.
К.У.Черненко был членом советской делегации
на международном Совещании
по безопасности и сотрудничеству в Европе
(Хельсинки, 1975 г.).
«Агитатор» 1984, №5*

«Вставай-ка, соня! Петушок пропел!»
Сон, уносящий нашего героя
в былые дни, в спортзал, где проходили
соревнования, прерван был шутливым
приветствием. «Тьфу, черт! Уже 12!
Как я заспался». — «Да немудрено!
Легли-то мы под утро, но зато
каков доклад-то! Я перечитал
его сейчас — и даже не поверил,
что это мы с тобою сочинили.
Ну уж теперь повертятся они!»
— «Да, господину Форду нынче
не позавидуешь». — «Ну ладно, пожалел!
Они бы нас не очень пожалели
будь воля их... А ну вставай, лентяй!»
И Брежнев резко сдернул одеяло.
«Ну, Леня, не балуйся! Ну, минутку

дай полежать еще» — «Вставай, засоня!
И, слушай, помоги мне ради бога...»
— «Что, снова галстук?» — «Ничего смешного
не вижу...» — «Эх, ты, Ленька, Ленька!
Вот я не стану помогать, хорош
ты будешь! То-то будет радость
приятелям американцам. Что?
Боишься, а?» — «Да ладно тебе, Костя.
Типун тебе на длинный твой язык!»
— «Ну, ну, я пошутил. Давай свой галстук.
Учись, пока я жив».

ХРИСТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИПТИХ

Часть I

*Розы цветут. Красота, красота!
Скоро узрим мы младенца Христа!*

АНДЕРСЕН

Тускло светит звезда Чернобыль.
В этом свете почудилось мне:
Джугашвили клинок обнажил,
гулко скачет на Бледном Коне.

Ты прости, я, быть может, не прав.
Может, это не правда еще.
Говорят, что, крылом воссияв,
защитит нас небесный Хрущев.

Только это, прости, ерунда!
Вон, любуйся, Хрущев твой летит
в сонме ангелов бездны сюда,
мертвой лысиной страшно блестит!

До чего же огромны они!
Легионом их в книге зовут.
И в моей голове искони
они скачут и песню поют.

Это есть наш единственный бой.
Мы уже проиграли его.
Видишь, Сталин такой молодой.
Нету против него никого.

Ты прости и не слушай меня.
Много лет я уже одержим.
И в пустые глазницы Коня
я гляжусь и дрожу перед ним.

Разверзаются ада врата.
И уже никого не найти,
кто бы спрятал младенца Христа
под рубахой на потной груди.

Смейся, смейся, не слушай меня.
Страхом, видимо, я ослеплен.
Но во тьме мне предстал Сатана.
Я-то знаю, как выглядит он!

Не политика это, клянусь!
Ну, причем же политика тут!
Мне приснился младенец Иисус.
Я-то знаю, его предадут.

Не политика это, дурак!
Ну, когда наконец ты поймешь —
Он в яслях беззащитен и наг,
Он опять пропадет ни за грош!

И тогда ты поймешь, наконец,
И тогда, наконец, заорешь!
Надвигается полный конец!
Мы с тобой пропадем ни за грош...

Вновь пробили куранты в Кремле.
Вновь по первой программе футбол.
Вновь петух прокричал на заре.
И отрекшийся встал и пошел.

Часть 2

Ты сегодня в новом платье
цвета — ах! — морской волны.
Как золотой песок Ривьеры
волосы озарены.

Вся ты, как круиз беспечный
вдоль берегов Европы той,
той Отчизны нашей вечной,
где не будем мы с тобой.

Ну, не будем и не надо.
Ну, не надо, ну, пойдем!
По заброшенному саду
мы гуляем и поем.

Мы поем и по тропинке
вслед за бабочкой идем.
Мы с тобой — как на картинке.
Мы о будущем поем.

И ничто нас не разлучит,
даже мать-сыра земля,
ибо смысл ея летучий
нам открыли тополя.

Солнце-клеш, какое счастье
несмотря на смерть и страх.
Словно первое причастье,
вьется птица в небесах.

Птица Божья, птица Божья,
пой, не бойся, ты права!
Нежно гладит нашу кожу
золотая синева.

Потому что мы ячейка
Царства Будущей Любви!

Зря кривит судьба-злодейка
губы тонкие в крови.

Мы поем с тобой, гуляем
в синеве, в листве, в траве.
Потому что твердо знаем
окончательный ответ:

Глупости, что все проходит!
Глупости, не верь, дружок!
Все вернется нам в угоду
в свой, уже недолгий, срок.

Все еще прекрасней станет
(как вода на свадьбе той)
под легчайшими перстами,
что слепили нас с тобой.

Так гляди, гляди на лето,
на заросший этот сад,
на счастливый полдень этот,
словно много лет назад.

Сердце, сердце, грозным строем
встали беды пред тобой!
Пой, не бойся, Бог с тобою!
Ничего не бойся, пой!

Цвет морской волны прохладной,
золото российских нив,
чистый-чистый, беспощадный,
с детства памятный мотив!

И Европа наша с нами,
и Россия часть ее,
и святое наше знамя —
платье новое твое!

ПОЭМА «ЖИЗНЬ К.У.ЧЕРНЕНКО»

Глава V

РЕЧЬ ТОВАРИЩА К.У.ЧЕРНЕНКО

на Юбилейном Пленуме

Союза писателей СССР

25 января 1984 года

(по материалам журнала «Агитатор»)

Вот гул затих. Он вышел на подмостки. Прокашлявшись, он начал: «Дорогие товарищи! Наш пленум посвящен пятидесятилетию события значительного очень...» Михалков, склонясь к соседу, прошептал: «Прекрасно он выглядит. А все ходили слухи, что болен он». — «Тс-с! Дай послушать.» «... съезда писателей советских, и сегодня на пройденный литературой путь мы смотрим с гордостью. Литературой, в которой отражение нашли XX-го столетия революционные преобразования!» Взорвался аплодисментами притихший зал. Проскурин неистовствовал. Слезы на глазах у Маркова стояли. А Гамзатов, забывшись, крикнул что-то по-аварски, но тут же перевел: «Ай, молодец!» Невольно улыбнувшись, Константин Устинович продолжил выступленье. Он был в ударе. Мысль, как никогда, была свободна и упруга. «Дело, так начатое Горьким, Маяковским, Фадеевым и Шолоховым, ныне продолжили писатели, поэты...»

И вновь аплодисменты. Евтушенко, и тот был тронут и не смог сдержать наплыва чувств. А Кугультинов просто лишился чувств. Распутин позабыл на несколько мгновений о Байкале и бескорыстно радовался вместе с Нагибиным и Шукшиным. А рядом Берггольц и Инбер, как простые бабы, ревмя ревели. Алигер, напротив, лишилась дара речи. «Ка-ка-ка...» — Рождественский никак не мог закончить. И сдержанно и благородно хлопал Давид Самойлов. Автор «Лонжюмо» платок бунтарский с шеи снял в экстазе, размахивая им над головой. «Му-му-му-му» — все громче, громче, громче ревел Рождественский. И Симонов рыдал у Эренбурга на плече скупую солдатскую слезой. И Пастернак смотрел испуганно и улыбался робко — ведь не урод он, счастье сотен тысяч ему дороже. Вдохновенный Блок кричал в самозабвении: «Идите! Идите все! Идите за Урал!» А там и Пушкин! Там и Ломоносов! И Кантемир! И Данте! И Гомер!.. Ну, вот и все. Пора поставить точку и набело переписать. Прощай же, мой Константин Устинович! Два года, два года мы с тобою были вместе. Бессонные ночные вдохновенья я посвящал тебе. И ныне время проститься. Легкомысленная муза стремится к новому. Мне грустно, Константин Устинович. Но таковы законы литературы, о которой ты пред смертью говорил... Покойся с миром до радостного утра, милый прах.

ЛЕСНАЯ ШКОЛА

*Ехал на ярмарку Ванька-холуй
За три копейки показывать ху...
художник, художник,
художник молодой...*

Хулиганская песня

Ой вы, хвойные лапы, лесные края,
ой, лесная ты школа моя!
Гати-тати-полати, ау-караул,
елы-палы, зеленый патруль!

В маскхалате на вате, дурак дураком,
кто здесь рыщет с пустым котелком?
Либо я, либо ты, либо сам Святогор,
бельма залил, не видит в упор!

Он не видит в упор, да стреляет в упор,
слепота молодцу не укор!
Он за шкурку трясется, пуляет в глаза.
Елы-палы, река Бирюса!

Ой, тюменская нефть да якутский алмаз,
от варягов до греков атас.
И бродяга, судьбу проклиная, с сумой
вдоль по БАМу тащится домой.

Ой, гитара, палаточный наш неуют!
Дорогая, поедem в Сургут.
И гляди-ка — под парусом алым плывет
омулевая бочка вперед!

И полночный костер, и таежная тишь,
и не надо, мой друг, про Париж.
От туги до цынги нам не видно ни зги.
Лишь зеленое море тайги!

Лишь сибирская язва, мордовская сыпь...
Чу — Распутин рыдает, как выпь,
над Байкалом, и вторит ему Баргузин.
Что ты лыбишься, сукин ты сын?

Волчья сыть, рыба кровь, травяной ты мешок,
Хоть глоток мне оставь, корешок!
Вот те Бог, вот те срок, вот те сала шматок,
беломоро-балтийский бычок.

Возле самой границы, ты видишь, овраг!
Там скрывается бешеный враг —
либо я, либо ты, либо сам Пентагон!
О, зеленые крылья погон!

И так тихо, так тихо в полночном лесу,
лишь не спит злополучный барсук.
Все грызет и грызет он мучительный сук.
Мне ему помогать недосуг.

Три гудочка я сделаю — первый гудок
наматает положенный срок,
а второй про любовь, про любовь прокричит,
третий харкнет и снова молчит.

Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь ни фига,
человечья не ступит нога...
В темном лесе свирель, сею лен-конопель,
волчью ягоду, заячий хмель...

Но кто скачет, кто мчится — спаси-помоги —
Царь Лесной, председатель тайги!

С ним медведь-прокурор да комар-адвокат,
и гадюки им славу свистят!

Призрак бродит по дебрям родным разъярен,
европейский покинув газон.
Он рубаху последнюю ставит на кон,
спит и видит сивушный свой сон.

В рукавицах ежовых, с моржовым концом
он бредет, голосит ни о ком.
Лихоманка его зацелует до дыр,
обтрухает парадный мундир.

И над Шушенским стелется черная гарь,
да стучит костяная нога.
Бабка-ёшка обнову нам хочет вязать
и базедовы пучит глаза.

То не Маркс тебя мучает, не капитал,
это бред-берендей забодал,
это дед-лесовик, это гад-Боровик,
Иванова коварный парик!

Это дурью мы мучимся, лен-конопель,
волчья ягода, заячий хмель.
Белина-целина, что ни день — то война,
елы-палы, лесная страна.

По сусекам скребут, по сусалам гвоздят,
по централам торчат-чифирят.
Эх, кайло-кладенец, эх, начальник-отец.
Эх, тепло молодежных сердец!..

Одиноко гуляет гармонь вдоль села.
Ей навстречу Дерсу Узала:

«Ты сыграй мне, гармонь, над разливами рек!»
— «А пошел бы ты на хер, чучмек!»

В Красном Чуме на Ленина чукча глядит.
Вот те культ, и просвет, и полит.
Ленин делает ручкой вперед и вперед.
Чукча смотрит и песню поет.

Он поет гуль-мулла, и поет йок-ялла,
и поет он якши-мишмулла.
И качается в такт, и клубится табак.
Входят в чум итэльмен и коряк.

И тунгус черемису в глаза наплевал,
да упал, да уснул наповал.
Гог штакетником двинул Магогу меж рог.
Геку Чук вставил перышко в бок.

Нам кровавой соплей перешибли хребет.
Отползай, корешок, за Тайшет.
И, как шапку в рукав, как в колодец плевков,
нас умчит тепловозный гудок.

Ну, чего же ты, Дуня? Чего ты, Дуня?
Сядь поближе, не бойся меня.
Пойдем-выйдем в лесок, да сорвем лопушок,
да заляжем в медвяный стожок.

Алый цветик-цветок, дроля милый дружок,
одуванчиков желтых венков.
Но не вздохи у нас на скамейке — любовь.
Вынь да вдвинь свой амбарный засов.

Нас венчали не в церкви, сыр-бор да простор!
Над макушкой завяжем подол!

Ну, натешился всласть, кучерявый, вылазь,
видишь, вся тут артель собралась!

Не гляди же с тоской на дорогу, дружок!
Зря зовет тепловозный гудок.
Там плацкартные плачут, да пьют, да поют,
а СВ все молчат да жуют.

А в столыпиных стелят казенный матрас —
пидорасят друг друга и нас...
В феврале на заре я копаюсь в золе,
я дрожу в феврале на заре.

Снова в широкошумных дубровах один
я бегу, сам себе господин.
Но взглянул я вокруг — а кругом на века
братья Строговы строят ДК!

Вырастают, как в сказке, то ГЭС, то АЭС,
освещают прожектором лес!
Все мне дорого здесь, все мне дорого здесь,
ничего мне недешево здесь!

То прокисли молочные реки во зле,
вязнут ноги в пустом киселе.
В феврале на заре я копаюсь в золе,
я ищу да свищу на заре.

Эх, белеть моим косточкам в этих краях,
эх, Собес, Красный Крест да Госстрах.
О, не пей, милый брат, хоть денечек не пей,
ты не пей из следов костылей!

И сияют всю ночь голубые песцы,
и на вышках кемарят бойцы,

Ороси мои косточки пьяной слезой —
клюквой вырасту я над тобой.

Что нам красная небыль и что Чернобыль!
Золотой забиваем костыль.

И народнохозяйственный груз покатил,
был да сплыл от Карпат до Курил...

Кверху брюхом мы плыли по черной реке,
алый галстук зажав в кулаке.

А по небу полуночи Саша летел
Башлачев и струнами звенел.

Он летел, да звенел, да курлыкал вдали.

Мы ему подтянуть не могли.

Мы смотрели глазами из рыбьей слюды
из-за черной чумной бороды!

И чума-карачун нам открыла глаза —
елы-палы, какая краса!

И Мороз, Красный нос нам подарки принес —
фунт изюму да семь папирос.

О, спасибо, спасибо, родная земля,
о, спасибо, лесные края!

И в ответ прозвучало: «Да не за что, брат,
ты и сам ведь кругом виноват».

О, простите, простите, родные края,
о, прости мне, лесная земля!

«Да ну что ты, — ответила скорбная даль, —
для тебя ничего мне не жаль...»

На передних конечностях, видишь, вперед
человек настоящий ползет.

И мучительно больно не будет ему.
Почему, объясни, почему?

Выползает пилот на опушку и зрит —
там стоит свежесрубленный скит,
там во гробе хрустальном Корчагин лежит,
взгляд недвижный звездюю горит.

Поднимайся, пойдём, закаленная сталь!
Слышишь, плачет братишка Кармаль!
Слышишь, бьется с врагом не на жизнь Муамар!
Поползли к ним на выручку в даль!

И еловую лапу протянем друзьям!
Поползли по лесам, по горам!
К жгучим ранам прижми подорожника лист,
след кровавый стели, не скупись!..

Ой, Ярила-мудила, ой, падла-Перун,
моисеевский Лель-топотун!
Бью челом вам, бью в грязь своим низким челом,
раскроив о корягу шелом!

Да, мы молимся пням, да дубам, да волкам,
припадаем к корявым корням.
Отпустите меня, я не ваш, я ушел,
елы-палы, осиновый кол.

Гадом буду и бля буду, только пусти,
в свою веру меня не крести!
Дураки да штыки, да Госстрах, да Собес,
елы-палы, сыр-бор, темный лес!..

Как по речке, по речке, по той Ангаре
две дощечки плывут на заре.

И, ломая у берега тонкий ледок,
я за ними ныряю в поток.

И, дощечки достав, я сложу их крестом,
на утесе поставлю крутом.
Крест поставлю на ягодных этих местах,
на еловых, урловых краях.

Подходи же, не бойся, чужак-человек,
комбайнер, замкомвзвода, генсек!
Приходите, народы какие ни есть,
хватит в этих обителях мест.

Так открой же, открой потемневший Свой Лик,
закрути, закрути змеевик!
И гони нас взашей, и по капле цеди,
и очищенных нас пощади!..

Но не в кайф нам, не в жилу такой вот расклад,
елы-палы, стройбат, диамат!
Гой еси, пососи, есть веселье Руси,
а Креста на ней нет, не проси!

И кричи не кричи — здесь не видно конца,
брей не брей — не отыщешь лица.
Где тут водка у вас продается, пацан?
До чего ж ты похож на отца!

Эй, скажи, что за станция это, земляк?
Эта станция, парень, Зима!
Да тюрьма, да сума, да эхма задарма,
карачун это, парень, чума.

Елы-палы, гудит тепловозный гудок:
вот те срок, вот те срок, вот те срок!

За туманом мы едем, за запахом хвой,
и туман получаем с лихвой!

Слышишь, снова кричит с бодуна Гамаюн,
фиксой блещет чума-карачун!..

В феврале на заре сеем лен-конопель,
невзирая на хмель и метель.

В феврале на заре мы лежим на земле,
согревая друг друга в золе.

То ли черт нас побрал, то ль сам Бог нам велел,
елы-палы, косяк-конопель!

Мама, мама, дежурю я по февралю,
в Усть-Илиме пою: Улялюм!

Улялюм, твою мать, не увидишь конца.

До чего ж я похож на отца!

И ворую я спички, курю я табак,
не ночую я дома, дурак!

И спасибо, спасибо, лесная земля!

Бог простит вас, родные края!

И валежник лежит, и Джульбарс сторожит,
вертолет все кружит да кружит.

Но соленые уши, пермяк-простота
из полена строгают Христа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К КНИГЕ «ЛИРИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ»

Дурак! При чем тут Вассерман!
Ты сделай мне пирке!
Ты посмотри — в моей руке
лишь фантик золотой.
Малины положи в стакан,
укрой меня, родной!

Ты посмотри — в моих глазах
лишь светлая слеза!
Ты трепанируй череп мой -
там злости никакой!

Там только тьма, там только свет,
там только лед и жар,
там только ужас и душа,
которой всех нас жаль!

Ты стетоскоп приставь к груди,
прислушайся ко мне,
услышь меня, мой бедный враг,
ты слышишь, больно как?

Пощупай ребра — где тут жир?
Я не с него бешусь.
Пока надеюсь, я дышу.
Я не зажрался, нет!

Я не гнилой, пощупай нос,
пощупай все, что хошь!
Никто меня не подучил,
послушай, замолчи!

Как на ладони весь я тут,
я маленький совсем.
Я в кулаке твоём пишу
и смысла в нём ищу.

Я не стилига! Нет, поверь!
Я совесть не пропил!
Дурак, при чём же тут бордель?
Чахотка да Сибирь!

Чахотка да Сибирь, вот так,
такой я вижу знак.

И имя доброе мое —
заступника всего!..
Ты сделай лучше мне пирке,
ведь я в твоей руке!

К О Н Е Ц

*Рождественская
песнь
квартиранта*

Конец 1986 г.

Людмиле Кибировой

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АЛЛЕГОРИИ

I

Отвяжись, я тебя умоляю...

В.НАБОКОВ

Ничего не пила со вчерашнего дня.
Хоть вчера еще все закупила.
А сегодня «Салюта» купила она,
чтобы вместо шампанского было.

И спала в бигудях, и помыла полы,
с синтетической елкой возилась.
Золотые такие, литые шары...
Улыбалась, потом прослезилась.

В шесть часов ее гости придут. И, небось,
Николай уже будет готовый.
Дед Мороз, Дед Мороз, ничего не сбылось.
Почему все так вышло херово?

Из кримплена бордовое платье. Оно
отстиралось, отгладилось чисто.
Лишь у вытачки левой осталось пятно.
Но оно незаметно почти что.

И зеленые тени, и пудра «Кармен»,
губы бантиком, фикса стальная.
Жаль, флакончик духов с похмелюги Армен
взял да вылакал, сволочь такая.

Годы девичьи, где ж вы? Родимый детдом,
ПТУ, общежитье, девчата,
СУ да СМУ, да роддом, да нарсуд, а потом
ЛТП... да сама виновата.

Новый год, Новый год! Пусть же будет светло.
Может, все еще сбудется, братцы.
Как у всех, как у тех, вот нарочно, назло!
Пусть попробуют только нажраться!..

Но не будет подарков тебе никаких,
морда пьяная, рыло дурное!
На погосте маманя, на нарах жених,
вены вздулись под старым капроном.

Что ж, сучара, ты ждешь, что, блядища, глядишь,
улыбаешься, дура такая?
На-ка, выкуси шиш, отвяжись, отвяжись,
не дыши на меня, умоляю!..

Так зачем же ты ждешь и помыла полы
и, нарезав снежинки искусно
(как прекрасны они, как чисты и белы),
на окошко наклеила густо.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

1

ЗАЧИН

Край ты мой единственный, край зернобобовый,
мой ты садик-самосад, мой ты отчий край!
Я ж твоя кровиночка, колосочек тоненький!
Ты прости меня, прощай
да помнить обещаешь!

Ты прости меня, прощай, край древесностружечный,
край металлорежущий, хозрасчетный мой,
ой, горючесмазочный, ой, механосборочный,
ой ты, ой, лесостепной
да мой ты дорогой!

Ой ты, ой, суди меня, народнохозяйственный,
социально-бытовой и камвольный наш!
Дремлют травы росные, да идут хлопцы с косами,
Уралмаш да Атоммаш,
да шарашмонтаж!

Литмонтаж, писчебумаж, да видимо-невидимо,
да не проехать — не пройти, да слухом не слышать.
Ах, плодово-ягодный, ах, товаро-денежный,
ах, боксит, суперфосфат,
да полно горевать!

Да полно горе горевать, мать варяго-росская!
ТЬфу, жидомасонские шнобели-крючки!
Что ж вы, субподрядчики, сменщики, поставщики?
Что же вы, поставщики,
Дурни-дураки?

Эх вы, дурни-дураки военно-спортивные,
грозные, бесхозные, днем с огнем искать!
Где же ваши женушки, где же ваше солнышко?
Хва, ребята, вашу мать,
да горе горевать!

Да полно горе-горевать, золотые планочки,
об рюмашечку стакашек — чок да перечок!
Спят курганы темные, жгут костры высокие,
придет серенький волчок
да схватит за бочок!

Придет черный воронок, ой, правозащитные!
Набегут, навалятся, ой, прости-прощай,
ой, лечебно-трудоустрой, жди-пожди, посасывай!
Бедненький мой, баю-бай,
спи, не умирай.

Придет серенький волчок, баю-баю-баиньки,
и дорожно-транспортный простучит вагон.
Заинька мой, заинька, маленький мой, маленький,
вот те сон, да угомон,
да штопаный гандон.

Заинька мой, попляши, серенький мой, серенький!
Избы бедные твои, пшик да змеевик.
Край мой, край, окраина, краешек, краюшечка.
Совість бедная моя,
заветная моя.

Совість, совість, никуда не уйти мне, матушка,
Тут я, туточки стою, агитпроп мне в лоб.
Здравствуй, здравствуй — я пою, а во поле чисто.
Чисто во поле, дружок.
Зайка скок-поскок.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

2

КСП

Звучит высокая тоска.
Струна поет, и блещут воды.
Деревья, травы, облака —
поэзия родной природы.

Ах, все мы — маленькие принцы!
Нам взрослые дадут ремня.
А может, принесут гостинцев.
Но разве им понять меня!

Они ведь едут за деньгами!!
Что им туман и запах хвой!
С улыбкой я пожму плечами,
к кринице припаду губой.

Какая чудная водица!
В ней весело дробится свет.
Над ней пернатая певичка,
лазурь и радость детских лет.

Какие зайчики! Какие
березы! И какой простор!
Грибы и ягоды России
ведут высокий разговор

с душой моей простой и робкой.
И пахнет мятою трава.
Взлетает Божия коровка.
Вот счастье, Лева, вот права!..

В лесах Мордовии счастливой
вдоль проволоки я бродил,
и ландыш первый, боязливый
свои мне сказки говорил.

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

3

Шаганэ ты моя, Шаганэ,
потому что я с Севера, что ли,
по афганскому минному полю
я ползу с вещмешком на спине...
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Тихо розы бегут по полям...
Нет, не розы бегут — персияне.
Вы куда это, братья-дехкане?
Что ж вы, чурки, не верите нам?..
Тихо розы бегут по полям...

Я сегодня сержанта спросил:
«Как сказать мне «Люблю» по-душмански?»
Но бессмысленным и хулиганским,
и бесстыжим ответ его был.
Я сегодня сержанта спросил.

Я вчера замполита спросил:
«Разрешите, — спросил, — обратиться?
Обрядить в наш березовый ситец
Гулистан этот хватит ли сил?»
Зря, наверно, его я спросил.

Шаганэ-маганэ ты моя!
Бензовоз догорает в кювете.
Мы в ответе за счастье планеты.
А до дембеля 202 дня.
Шаганэ ты, чучмечка моя.

Шаганэ ты моя, маганэ!
Там, на Севере, девушка Таня.
Там я в клубе играл на баяне.
Там Есенин на белой стене...
Не стреляй, дорогая, по мне!

И ползу я по этому полю —
синий май мой, июнь голубой!
Что со мною, скажи, что со мной —
я нисколько не чувствую боли!
Я нисколько не чувствую боли...

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

4

ПЕСНЯ О ЛЕНИНЕ

Мама, я Ленина люблю!
Мама, я за Ленина пойду!
Ленин — он весны цветенье,
зори новых поколений —
и за это я его люблю!

К коммунизму на пути
с нами Ленин впереди —
и за это я его люблю!

В давний час в суровой мгле
он сказал, что на земле —
и за это я его люблю!

За фабричную заставой
жил парнишка он кудрявый —
и за это я его люблю!

По военной по дороге
шел в борьбе он и в тревоге —
и за это я его люблю!

Он за Волгой и за Доном
загорелый, запыленный —
и за это я его люблю!

Ленин — гордость и краса,
все четыре колеса! —
и за это я его люблю!

Неприступный для врагов,
гордость русских моряков —
и за это я его люблю!

Ленин порохом пропах
с сединою на висках —
и за это я его люблю!

Не пришедши он с полей
превратился в журавлей —
и за это я его люблю!

С высоты он шлет привет,
сожалений горьких нет —
и за это я его люблю!

И в чем дело не поймешь —
он нормальный летний дождь —
и за это я его люблю!

Там, на розовых ветвях,
соловей он, славный птах —
и за это я его люблю!

Ленин — ивушка зелена,
над рекою он склоненный —
и за это я его люблю!

Он не рокот космодрома —
он трава, трава у дома —
и за это я его люблю!

То не ветер ветку клонит —
он, мое сердечко, стонет —
и за это я его люблю!

Обнявшись, сидит с княжной
он веселый и хмельной —
и за это я его люблю!

Милый барин, добрый барин,
нехристь староста татарин —
и за это я его люблю!

Он особенная статья,
его умом не понять —
и за это я его люблю!

И пойми же ты, Шувалов,
Ленин выше минералов!
И за это я его люблю!

Ленин — бездна звезд полна!
Нет у этой бездны дна!
Мама! Я Ленина люблю!

ПЕСНЯ ОСТАЕТСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

5

ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ. 1973 г.

Это яблоко? Нет, это облако.

С.ГАНДЛЕВСКИЙ

Если б, о, если б гармошка умела!
Если б я сам на гармошке умел!
Радость моя, как бы звонко ты пела,
чистое дело, июнь да апрель!

Эх, моя радость, зайчишка дурная!
Сердце щемит, вот какая сирень.
Помнишь, в Можайском районе? ...Не знаю.
Это ж пустяк, это так — поебень.

Локон да око, да плач одинокий.
Это не память, а что-то еще.
Облако, что ли? да водки немного.
Радость моя, ты опять за свое?

Радость не радость, но вот ведь, ну вот же!
Ну-ка взглядишь. Да куда ты глядишь?
Сморщилась кожа, да скорчилась рожа.
Но ведь сирень же? Ну что ты молчишь?

Что же ты хочешь? Чего тебе надо?
Я не хочу о таком вспоминать.
Утречком мимо колхозного сада...
Радость моя, кто ж тебе виноват?

Что же ты хочешь, хохочешь, бормочешь,
чистые очи да ясные дни.

Что-то не верится. Что-то не очень.

Где же они? Ну куда же они?

Где ж ты, куда ж ты, чего говоришь ты?
ишь ты, поди ж ты, дурында моя...

Сумраком синим, да вечером мглистым...

Был я, забыл. Вот и нет ни хрена.

Кто ж тебя так? Да куда ж ты такая?

Как же ты это? Можайск да сирень.

Утром пошли, на ходу досыпая...

Чистая зорька, пустяк, поебень.

Зорька и только-то, крашенный локон,

чистый-лучистый портвейн да сирень.

Облако что ли? Уймись, ради Бога.

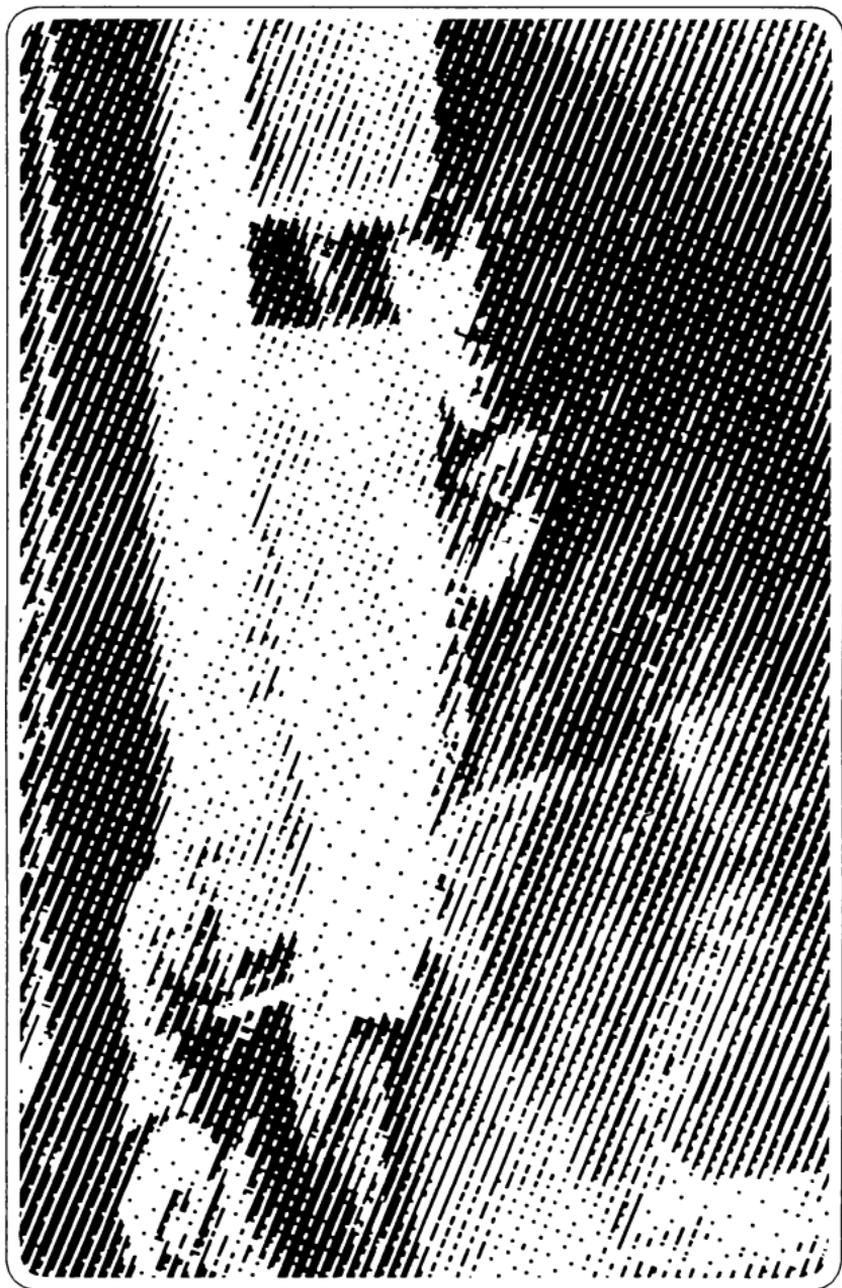
Радость, зачем же ты, бедная тень?

Чистая юность. Уроки минета.

Плакать не плачу, но вот ведь, ну вот...

Что ж это, что же за облако это?

Радость моя, кто ж его разберет...



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АЛЛЕГОРИИ

II

*А может, она начинается
Со стука вагонных колес...*

МАТУСОВСКИЙ

На платформе «Березки» ввалились в вагон
два подростка с девицей поддатой.
Что-то пел по-английски их магнитофон,
заглушаемый ржачкой и матом.

Белобрысый постарше. Чернявый прыщав.
Так прыщав, что и кожи не видно.
У девицы торчит сигаретка в губах...
Ой, как стыдно, ребята, как стыдно!

Джинсы «Тверь» у блондина. Чернявый зато
ходит в эти морозы без шапки,¹
зажигалкою щелкает, как Бельмондо,
носом хлюпает, скрючившись зябко.

Драть их некому. Девку особенно... М-да...
Отодрать ее — очень и очень...
Лет 15-16. Ни капли стыда.
Громче всех матерится, хохочет.

Хорошо ли вот так?.. Ну, а как хорошо?
Ну, не знаю, но можно ж иначе...
Вот читали вы... Что это значит — «пошел»?
Ты не рано ли нагличать начал?

Вот послушайте, мальчики, — Экзюпери,
Вознесенский, Распутин и Лорка...
Ну, ты что это, что это?! Ой, убери!
Ах вы, гады, попробуйте только!

Есть тут кнопочка красная — можно нажать.
Это вызов милиции, кстати.
Чтобы вы не мешали мне песню писать,
чтобы вас повязали, ребята...

Эх, ребята, ребята! Чуть что — по мордам.
А чуть что — распускаете слюни.
Эх, ублюдки, мильтон приближается к вам...
Стыдно мне, заложившему юность.

Молодежь! Что же сбудется завтра с тобой?
Юность, ждут тебя трассы и бури!
Кто по 206-й, кто с душманами в бой,
кто родит спиногрыза по дури...

«Modern talking», из телека списанный, врет,
сладкий пидор поет по-английски.
А о чем он поет, кто ж его разберет
в электричке предпраздничной клинкой.

В РАМКАХ ГЛАСНОСТИ

М. Шапиро

*Нам из мрака
недавно выйти лишь дано,
а между тем — взгляни, исчисли;
Какой прогресс в движеньи мысли!
Вопросов столько решено!
И это все еще — зачаток!
Везде преследованье взяток,
Весь мир проснулся, закричал,
Раскрылось каждое событие,
Явились — гласность и развитие
Экономических начал.
Уму отрадно, сладко чувству.
Начертан воспитанья план.
Везде простор науке дан
И цель указана искусству.
Кого наш век не изумит?
Куда ни оглянись — все ново,
И против зла везде громит
Изобличительное слово.
Твои сомненья — смертный грех!
Сознаться каждый в том обязан,
Что все подвинулось. Успех
Математически доказан.*

В.БЕНЕДИКТОВ, 1862 г.

1

Гудит ускоренье,
идет обновленье,
тревожно стучит телетайп.
Движенье, движенье, решенья, свершенья.
Настал перестройки этап.

Движенье, движенье, пора очищенья!
Пора обустроить бардак!..
Но встал из кургана, поросший бурьяном,
матрос-партизан Железняк.

Стоит, озирается дико спросонок,
восстав из родимой земли,
«Я шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Но вы-то куда забрели?!!»

И в гневе великом воскликнул он дико,
тельняшку рванул на груди!
Корчагина кликнул, Мересьева кликнул,
Зиганшин, ты тоже иди!

«Товарищ, товарищ, болят мои раны,
и твой паралич не прошел!
Ах, ноженьки резвы, скрипучи протезы!
Гляди же, могучий орел!

Товарищ, товарищ, за что воевали?
За что проливали мы кровь?
За что сапоги и гармони жевали?
Чтоб издан был вновь Гумилев?!

Чтоб шлюхи стояли у «Националя»?
Чтоб нюхал подросток эфир?
Чтобы девушек наших «Битлами» растляли?
Чтоб в страхе боролись за мир?!

Так нет же!!» Схватил он гранату лимонку.
«Клянемся — ни шагу назад!»
Корчагина взял Железняк на закорки,
пошли защищать Сталинград.

По чистому полю идут горемыки.
И вдруг — две огромных ноги!

Застыли герои в смущеньи великом.
До неба стоят сапоги!

Но с духом собравшись, рванулись в атаку,
их натиск был грозен и лих.
Весь день и всю ночь они бились без страха.
Под утро заметили их.

И взял дядя Степа их в добрую жменю —
напрасно кричал партизан —
и сунул в карман их, героев бессменных,
во внутренний, темный карман.

Вот там-то я их и увидел впервые,
я встретил гостей дорогих.
Сперва расстрелять они нас норовили.
Но общий нашли мы язык.

И в темном кармане сидим мы, гадаем,
«Каховку» поем иногда.
Я им у костра Мандельштама читаю.
Нам горе, браток, не беда.

Особенно дружен я стал с партизаном,
хоть часто бывает он зол,
Ведь я остаюсь либералом карманным,
а он — в монархисты пошел!

А бедный Зиганшин молчит и вздыхает,
вздыхает и снова жует...
Нет, нет, дядя Степа нас не обижает,
вот только шуметь не дает...

А там ускоренье, а там обновление!
Глазком бы увидеть хотя б!
Кто это, такой молодящийся? — Ленин.
И вечный Октябрь? — Да, Октябрь.



В РАМКАХ ГЛАСНОСТИ

2

— Я, конечно, дико извиняюсь,
но скажите, если не секрет,
чем Вы это заняты, товарищ?

— Перестройкой заняты, мой свет!

— Перестройкой? А чего конкретно
можно ли узнать, товарищ мой?

— Отчего ж нельзя, секретов нету.
Памятника Сталину, родной.

— Памятника Сталину?! — Так точно.
Время, брат, такое настает.
Мы и так уж припозднились очень,
Надо, так сказать, идти вперед.

— Дорогой мой! Радость-то какая!
Вот давно бы так, товарищ мой.
Истомилась ведь страна родная
у него, собаки, под пятой!

Вот давно бы так, товарищ милый,
вот давно бы так, давно бы так!
Сбросим, сбросим гнет его постылый!!
— Ну а как же! Запросто, земляк!

— А во что же идол бесноватый
перестроен будет? — Угадай!

— В Ленина? — Нет, холодно, приятель!
Думай, корешок, соображай.

— Может быть, в... Черненко? — Да ну что ты!
Ты смеешься или просто псих?

— В Карла Маркса? — Да была охота!
Не видали Марксов мы твоих!

— Ну, сдаюсь я... — В Пу... — В Пу... — Пугачева?!
— Тьфу ты, черт! Ну что ты говоришь?
В Пушкина!! — Не может быть такого!
— Очень даже может, не бойсь.

— Господи!! Да это ведь... не знаю
даже как сказать! Я плачу, брат!
Процветет ведь Родина родная!
— Ну а как же! Нам не привыкать!

— А когда же это совершится,
завершится славный подвиг ваш?
Доживу ли я, как говорится?
— Да подкрасить только — и шабаш!

— Как подкрасить?! — Да подкрасить малость,
Видишь — облупилось кое-где.
Ну а в общем-целом состоялась
перестройка. — Как? А галифе?!

— Галифе? А что? — Да как же это:
Пушкин в галифе?! — Ну, в галифе...
— И с усами?! — Ну, с усами... — Где ты
Пушкина такого видел, где?!

И с широкой грудью осетина,
и с «Герцеговиной»...

— Ах ты, блядь!

Как же ты осмелился, скотина,
наше обновленье обсирать?!

Пушкина не смей, подлец, касаться!
Руки прочь и делай ноги, жид!
Пушкин — наше братство и богатство,
нашей общей веры монолит!

Пушкин — наш! Народу он любезен!
Он артиллеристам дал приказ!
С трубкой мира, с молодежной песней
он в боях выращивает нас!

А над ним — гвардейские знамена,
годы наших пламенных побед!
Блещут лучезарные погоны,
не померкнет их высокий свет!

В РАМКАХ ГЛАСНОСТИ

3

Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее.

Числа, 35, 33

Какая скверная земля —
все недороды да уроды,
капризы власти и погоды,
и вместо точки слово «бля».

Ведь все ж как у людей — заводы,
театры, фермы и поля,
и к годовщине Октября
Чайковский наполняет своды.

Но мчится сухогруз, суля
крушение, но пахнет иодом,
но Припяти мертвеют воды,
мертвеет Соколов-Скала.

И пустота, пустырь, голяк.
И на корню хиреют всходы.
Напрасны новые методы,
напрасна зоркость патруля.
Пока осквернена земля —
не переменится погода!

В РАМКАХ ГЛАСНОСТИ

4

Поверь, я первый встану на защиту!
Я не позволю никого казнить!
Я буду на коленях суд молить,
чтоб никому из них не быть убиту!

Я стану передачи им носить,
за колбасой простаивая сутки,
чтоб поддержать их дружескою шуткой,
я на свиданья буду приходить!

Я подниму кампанию протеста,
присяжных палачами заклею!
Я действием судейских оскорблю!
Не допущу я благородной мести!

И я добьюсь, чтоб оправдали их,
верней, чтоб осудили их условно,
чтоб все они вернулись поголовно,
рыдали чтоб в объятиях родных!

И вместе с ними зарыдаю я.
И буду горд, что выиграл процесс я.
И это будет счастьем и прогрессом
немыслимым...

Скорей, скорей, друзья,
Организуйте Нюренберг, иначе
не выжить нам, клянусь, не выжить нам!
За липкий страх, за непомерный срам...
Клянусь носить им, гадам, передачи.



РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АЛЛЕГОРИИ

III

Да, и такой, моя Россия...

А.БЛОК

Он заказ получил за участие в войне
и открытки из ящика вынул.
А в одной поздравленье покойной жене
и привет убежавшему сыну.

Первый раз он встречает один Новый год,
в первый раз он один, не считая
на экране генсека. Но этот не пьет...
Да и сам он не употребляет.

Ну, давай, символически чисто, плесни,
помяни День Победы народной
и Верховного рюмкой второй помяни.
Ну и хватит тебе на сегодня...

Значит, кончена жизнь, значит, кончена жизнь.
Смена смене выходит на смену...
Положи в холодильник заказ, положи!
Не смотри как на власовцев пленных!

Но на эту «Виолу» глядит он, глядит,
и рождается там, под медалью,
то ли злость, то ли что, то ли боль, то ли стыд.
Значит, жизнь. Значит, нас наебали.

Белофинская блядь, белозубая тварь,
златовласая вражья подстилка!..
Ну, ты чо, лейтенант? Ну-ка дай, ну-ка вдарь!..
Сыр в лепешку. Разбилась бутылка.

Ах, ты глупый старпер! Ты чего учинил?
Ты совсем, что ли, батя, свихнулся?
Ты о ком пожалел? За кого это пил?
И на что это ты замахнулся?!

Вот такие, такие, такие, как ты,
Мандельштама и... Что же ты плачешь?
Что ж ты плачешь, отец? Ну забудь, ну прости...
Что ж ты воешь с тоскою собачьей?

Посмотри же вокруг — все сбылось, все сбылось —
мир, и счастье, и дом, и медали!
Ты для этого жил и служил — не тужил...
Успокойся, ты сделал немало...

Но сидит он и плачет. А Сталин глядит.
Задом вертит Леонтьев с экрана...
Значит, жалость и стыд, значит, жалость и стыд,
Только жалость да стыд полупьяный.

ГЛУПОСТИ

I

Вечер тихой песней догорает.
Луч последний золотит стекло.
Покажи мне глупости, родная,
чтобы стало на сердце светло.

Луч последний догорает, Люда.
Не вернись, не взглянуть назад.
За стеною звякают посудой,
про бригадный слушают подряд.

Милая, ведь скоро стукнет, стукнет
кто-нибудь, а может, пронесет...
Тянет луком и картошкой с кухни.
Там хозяйка, у хозяйки кот.

Там, за Кольцевой, лежит Россия.
Скоро, скоро мне идти туда.
Меж берез косые и бухие...
Скоро, Люда, скоро, без следа...

Скоро, скоро, но еще скорее,
солнышко, раздену я тебя,
чтобы душой запуганной светлея,
трахаться, ликуя и скорбя.

Тихо-тихо, Люда, жалко-жалко
на матрац мы ляжем нагишом,
и любви богиня — Аморалка
нас пуховым осенит хвостом.

И к соску сосок, моя ты радость,
и к пупку пупок, к виску висок, —
чтобы плыл матрац под сенью сада,
чтоб под сенью струй блестел поток,

чтоб не все тонуло в фарисействе,
чтобы нас никто не отыскал,
чтобы эти мелкие злодейства
хоть на полчаса Господь побрал!

Все темней, темнее над землею.
Холодок бежит из-за дверей.
Ангел мой, чтоб жили мы с тобою,
покажи мне глупости скорей.

ГЛУПОСТИ

II

Милый друг, наконец-то мы вместе!
Я хрустящую простынь стелю
с бледной меткою М-210
И люблю я. А после курю.

Я люблю тебя снова и снова,
жизнь моя, мне немало дано —
с полдесятого до полвосьмого
светлый пламень в душе и меж ног!..

Между тем за окном наступают
легендарные 70 лет
гласность воет, портвейн дорожает,
зажигают на улицах свет.

Ни в какой стороне я не буду.
Я с тобой на родимом краю...
Худо-бедно — а все-таки чудо.
Чаем с булкой тебя я пою.

Я пою тебя, шторы задернув,
чтоб оттуда не смог кто-нибудь
разглядеть своим взором упорным
твою спину и левую грудь.

О жена моя! Русь моя! Зайка!
Вечный бой здесь да вечный покой...
Ладно, хватит, утрись, перестань-ка.
Видишь — месяц стоит над рекой!

По аллеям старинного сада
соловьи: соловьи до зари!
И белеет во тьме балюстрада,
и в мансарде окошко горит!

И акации гроздь душисты!
Звезды светлые в душу глядят!
И таинственно шепчутся листья,
о любви, о блаженстве твердят!

Чу! Далекая скрипка струнами
вторит страстным шептаньям моим,
ароматными машет ветвями
у беседки заветной жасмин.

Чу! Не Шуберт ли? Точно не знаю...
Шуберт, видимо. Видимо, он.
Я пою тебя, я призываю,
звезды светлые светят меж крон.

В рощу лунную легкой стопою
ты приди, друг единственный мой!
На скамейке над звездной рекою
стан твой нежный сожму я рукой!

Соловьи, соловьи до рассвета!
Чу! Хозяйка ключами бренчит...
Мы притихли, но песня не спета,
тихой сапой матрац доскрипит...

Кружева на головку... Чего ты?
Что смеешься?.. И вправду смешно...
Трое суток до Нового года.
За окном тяжело и темно.

Мы простимся с тобой на пороге.
За порогом, как прежде, темно.
Ничего, ничего, ради Бога!
Все равно — нам немало дано!

ГЛУПОСТИ

III

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ КВАРТИРАНТА

Дхнул Борей во мраке ночи.
В ледяных ризах бледны рощи.
Мраз тепло похитить хочет.
Мещет искры снег.

Тише, тише. Спи, Милена,
не кручинься, драгоценна,
прелестьми твоими плененный
я на ложе нег.

Спи, Милена, спи, драгая,
не гляди сквозь слез, вздыхая.
Вся натура затихает.
Спи, дитя утех.

Нам завтра разлучаться.
Спи, Лилета, может статься,
не встречаться век.

Судьбы нам велят расстаться.
Спи, сестрица нежных граций.
Ах, наш срок истек!

Млеко с розами на лице,
игры, смехи, сладки миги,
для чего красой толикой
ты меня даришь?

Для чего очес блистанье,
дивных персей трепетанье,
если ясно нам заране —
все мгновенье лишь?

О престань, престань, Лилета!
Спи, лобзаньями согрета,
люту грусть утишь!
Чу, сирена воет где-то.
Но уже ты спишь...

Два призрака одинаких —
Смерть и Время, дочери Мрака,
через окно вперили зраки
прямо в нас с тобой!

О, коль страшен глас Эреба!
О, коль хладны своды неба!..
Преломляющего Хлебы
я молю душой!

Преломляющего Хлебы
я молю иного неба
и земли иной!

Но уже скребет татарин
В ледяных ризах тротуары.
Гимн по радио ударил
за моей спиной.

Спишь, сопишь, моя Милена,
одеялом облачена,
членами со мной сплетена,
ангел мой златой!

Лифт уже во тьме грохочет.
На исходе этой ночи
я смыкаю злые очи.
Хватит, Бог с тобой!

Полно плакать и бояться,
лучше сладко лобызаться,
нежной страсти предаваться
станем вновь с тобой!

Хватит нам с тобою хлеба!
Хватит ледяного неба!
И матраца на потребу
слабости земной!
И одной моей подушки,
теплой заячьей норушки,
спрячь под одеяло ушки.
Видишь — свет какой!

В Кане Галилейской Пушкин
с бакенбардами и кружкой
среди гостей сидит!
И такое молвит слово,
так он говорит:

Выпейте вина живого
за здоровье Всеблагого
и не бойтесь ничего!
В брачные одежды снова
облекитесь, что ж такого!
Положитесь на Него!

Вся натура тихо дремлет.
Смерть ее крылом объемлет.

Время хладное в сем мире
надо всем царит.
Но пиита снова внемлет
гласу ангельскому, сиречь
пенью аонид!

Как тепло на сей подушке
со любезною подружкой,
то угодник Божий — Пушкин,
ай да сукин сын! —
нам протягивает кружку
драгоценных вин!
И вотще Борей ярится —
в горло сжатое струится
обращенная водица
Светлых Именин.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ АЛЛЕГОРИИ

IV

Россия, мати! Свет мой безмерный...

ТРЕДИАКОВСКИЙ

В новом, мамой подаренном зимнем пальто
(воротник из лисы чернобурой)
наша Юля в автобусе едет с тортом.
Или с тортом? Как правильно, Юля?

Юля, Юленька, Юля Петровна спешит,
что-то там про себя напевая.
А в груди — коммунарское пламя горит!
Ах, училка ты, свинка морская!

Ах, устала она, но довольна она —
торт «Славянка» для мамы достала.
И спешит и скользит... А вчера допоздна
сочиненья она проверяла —

«Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет!»,
«Коммунизм — это молодость мира»,
«Что ты сделал в шестнадцать мальчишеских лет?»
и о Блоке — «Свободная лира».

Но они ничего, ничего не хотят!
И глумятся, несчастные панки.
Где ж надежды оркестрик? Где гул канонад?
Бригантина, Каховка, Тачанка?

Юля, Юленька, дурочка, кончился год.
Ты все та же — мовешка, монашка.
И никто тебе, солнышко, не задерет
голубую ночную рубашку.

КСП и Айтматов, и сердце горит —
Сальвадор, Никарагуа, Ольстер...
Старший прапорщик будет ей снова звонить.
Только он бездуховный и толстый.

На каникулах будет печально чуть-чуть.
Впрочем, театры, концертные залы
приглашают тебя... Ничего. Как-нибудь.
Значит — жалость. Усталость и жалость.

Счастья нового, Юля, позволь пожелать.
Ты хорошая, Юля Петровна!
Ты хорошая очень, тебе не понять.
Нам поладить нельзя полюбовно.

Только жалость и стыд. Ничего, ничего
не придумаешь. Господи Боже!
Я готов поплатиться своей головой,
но и это уже не поможет!

Рождество приближается. Снова рожден
Царь Небесный. Послушай-ка, Юля!
Слушай — Лазарь был мертв, а потом воскрешен!
Воскрешен! Понимаешь ты, дура?

Ну, пойми же, пойми! Угости нас тортом!
Или тортом! Не надо сердиться!
Ну, давай же о Лазаре вместе прочтем,
как когда-то убийца с блудницей.

БУРАН

*Смерть и Время царят на земле.
Ты владыками их не зови.*

В.СОЛОВЬЕВ

Выхожу я, выхожу я,
песню завожу я!
Выхожу я в степь белую,
тундру снеговую!

Степь да степь лежит, не дышит,
ничего не слышит.
Никого здесь не колышет,
что со мною вышло...

Здравствуй, здравствуй, дорогая!
Здравствуй, дорогая!
Ты за что меня пугаешь,
мать-земля сырая?

Ты за что меня шугаешь?
Я не понимаю.
Я не знаю, я зываю,
вою-завываю!

Я не знаю, не врубаюсь,
вою-огрызаюсь.
Ты чего меня стебаешь,
мать моя такая?..

И взметнулись злые ветры.
Вихри поднялися.
И на тыщи километров
стоны разнеслися!

Лихо, Лихо выходило
из сырой могилы
и руками разводило
над простором милым.

Лихо, Лихо голосило:
Что же ты, дурила?
Я ж тебя, сынок, вскормило
из последней силы!

Я ль тебе не мать родная,
нежная, белая?
Что ж ты воешь, дрянь такая,
над родимым краем?

И взметнулось мое Лихо
по-над степью тихой,
мглою небо мое кроет,
сатаню воет!

Неустанно возрастает,
все в себя вбирает!
Воет-кроет-завывает,
снегом посыпает.

Ой, пурга моя мамаша,
ледяная каша,
ледовитая параша
рукавами машет.

Ничего уже не видно!
Ничего не стыдно!
Лихо злое заплясало
вкруг меня, нахала!

Бесконечны, безобразны
вьются бесы разны!
Кто они — еще неясно.
Только страшно, страшно!..

Лихо, лихо! Чивилихин,
стонет Чивилихин!
Ой, простите, Талалихин,
а не Чивилихин!

Никакой не Талалихин!
Сам ты Талалихин!
Сам ты, сам ты стонешь тихо...
Лихо мое, Лихо!

Сам я, сам я Талалихин,
Сам я Чивилихин...
Тише, тише! Ну-ка тихо!
Ой, какое Лихо!

Да какое уж тут тихо!
Злобная шумиха!
Все вокруг сплошное Лихо
и неразбериха...

Выходил профессор Зорин,
мрачен и упорен,
голову мою морочил,
застил мои очи.

Страшных призраков привел он,
неподкупный Зорин.
Лихо, Лихо, горе, горе
там, за синим морем!

Сто примеров приводил он,
СОИ наводил он,
воротилы, заправили,
вражеская сила!

СОИ, СОИ и душманы,
злые атаманы!
Наркоманы, хулиганы,
бундесвер поганый!

Ардис тянет руки-крюки,
вот какая злюка.
Имка-Пресс хохочет злобно
из страны загробной!

Би-би-си, соси, паскуда,
не пугай, иуда!
Лихо, Лихо, худо, худо!
Еще хуже будет.

Где ж буранный полустанок?
Наколел Айтматов!
Воют духи из землянок,
кроют небо матом.

Кроют небо, кроют землю.
Я со страхом внемлю.
Вот тебе и Чивилихин!
Лихо мое, Лихо.

Мчатся тучи, вьются тучи.
Эйдельман могучий
мчится на коне скакучем.
Не глядеть бы лучше!

Мчится он без крайней плоти
по степи бескрайней.
Тут Астафьев выбегает
и в него стреляет.

Эйдельман и сам стреляет,
точно попадает!
И Астафьев попадает,
метко поражает.

Вновь оружия заряжают
и опять стреляют...
Бесы воют, черти лают,
все меня пугает.

Госприемка выходила,
гласность приводила.
Выла, выла, голосила...
Редкая мудила!

Агропром над степью веет,
снег по снегу сеет!
Веют тезисы, идеи,
страшно молодея!

Веют, воют, сам я вою,
сам я небо крою.
Ничего в упор не вижу.
Тише, ну-ка тише!..

Но глядите — что за диво?
Что ж это за диво?
Величава, горделива,
до чего красива!

И лицо ее родное
доброе какое!
Бедра — не обнять рукою,
ну и все такое!

Это фея! Это флора!
Это — герцогиня!
Это — Флор Герцеговина,
древняя богиня!

Под туникой кумачовой
груды полны млека,
словно у Любовь Орловой,
в ясном взоре нега!

И раздвинула богиня
мощную вагину,
родила Герцеговина
дорогого сына.

Симпатичный, симпатичный!
Вот уж симпатичный!
Кто ж такой фотогеничный?
Я не знаю лично.

Это ж кворум! Это кворум!
Это полный кворум!
Это пленум, это форум,
мирный мораторум!

Вот идет он сквозь ненастье.
Здрассте, ваше счастье!
Упасите от напасти,
я из вашей части!

Блещет хромовою кожей,
форменной одежей.
И, сумняшеся ничтоже,
ебс меня по роже!

Жесточайшим, жесточайшим
образом жутчайшим
дурака меня пинает,
а за что — не знает.

Ой, ты что же нарушаешь
ленинские нормы?
Почему не заполняешь
протокол по форме?

Волк-волчище, волк позорный,
чего тебе, волче?
Слух упорный, срок повторный,
воют, воят горны!

Воют горны, воют ветры,
свищут километры,
беды, деды, да победы,
горькие комбеды!

И рычит, урчит баланда,
и звучит команда,
коменданты да сержанты,
бьют и бьют куранты!

Вьюга, вьюга, вот так вьюга!
Не видать друг друга!
И идут, идут Двенадцать
с Катькой разбираться!

Вьюга, вьюга, злоба, злоба,
злоба да стыдоба.
Вою, ною, голосую,
вею и воюю...

Но откуда ни возьмися —
зайка объявился!
Бедный маленький пушочек,
глупости комочек!

Глупый маленький зайчонок
плачет, как ребенок.
Запутал во тьме кромешной.
Ну иди, сердешный!

Забирайся под тулупчик,
дурачок-голубчик,
на груди моей укройся,
спрячься, успокойся...

Только сила неживая,
страшная, белая,
пуще прежнего взъярилась,
злостью подавилась!

И шипит мне в ухо Лихо,
хлещет в очи вихорь:
Подобру отдай косога
зайца молодого!!

Оборву тебе я яйца,
обломаю пальцы,
если не отдашь мне зайца,
снежного скитальца!

— Отрывай, падлюка, яйца,
поломай мне пальцы!
Не отдам тебе я зайца,
нежного страдальца!

Тут как гаркнет вражья Сила!
Как заголосила!
Налетела, повалила,
била меня, била!

Била, била, колотила,
воем оглушила,
в чистом поле положила
в снежную могилу.

Била-била, выла-выла,
да не тут-то было!
Ничего не получила
мать моя могила!

Вот лежу я бездыханный.
А буран стихает.
Из-за пазухи зайчишка
теплый выползает.

Ты скачи, скачи, зайчишка,
жми без передышки,
передай-рыдай поклоны
женке незаконной!

Обручальное колечко
брось ей на крылечко,
Ну, прощай, мое сердечко,
гибель недалече...

Вот лежу я, замерзаю.
Ничего не чаю.
Я не вою, не рыдаю,
свой капец встречаю.

Я встречаю-чаю-аю,
а кого не знаю.
Никого уже не знаю —
аю-засыпаю.

Головою-вою-ою
во сугробы-гробы
с непорочно женою,
смертью молодою.

Замерзаю-заю-аю,
замер-замерзаю,
веки белые смыкаю,
аю-засыпаю,

засыпаю-паю-аю
баю-баю-баю
белым паром вею-аю
в небо улетаю

в небо улетаю...

Снится мне — вечерний звон,
небеса родные.

Тоны-звоны, теплый сон,
избы расписные.

Золотятся купола,
полны ямы силоса,
тара-тара-трактора
с поля возвратилися.

Ходит, ходит белый конь
розовый от зорьки,
ходит сон мой угомон
от Оки до Волги.

Ходят девки над рекой,
сисечки-пиписечки.

Машут с берега рукой
Глебушка с Борисочкой.

И идет, идет весна
улицей Заречною!
На скамейке у окна
юность ваша вечная!

Чиста водочка — динь-динь —
дай Бог не последняя!
У крыльца растет жасмин
и ромашка бедная.

И черемуха-сирень,
Люба черноокая,
трень да брень через плетень,
милая, далекая!

Льется, льется Болеро,
полонез Огинского,
и мужик с базара прет
Гоголя, Белинского.

Матушка возьмет ведро,
принесет водичечки.
Светит в избах ГОЭЛРО,
светит Любы личико.

И гудит ночной комбайн
во широком поле.
Спи, дурашка, засыпай,
завтра снова в школу.

С неба звездочка глядит
прямо в глазки сонные,
и трепещет, и манит
в стеклышко оконное.

Ах, гори, гори, звезда,
звездочка приветная!
У меня ли на устах
песенка заветная!

У кота ли, у кота
мягкая подушечка,
одеяльце-красота,
бархатные ушечки!

У меня ли, у меня
вот какая спальенка!
На зиму стоят в сенях
саночки да валенки...

Ходит Ленин во лузях,
а печник не лается.
Пальцем ласково грозя,
Ленин приближается.

Ленин—дедушка рукой
гладит по головке:
Ишь вы гаденький какой,
и какой неловкий!

Что ж вы, батенька? Нельзя!
Не годится, батенька!
Ну-ка вытрите глаза,
носик аккуратненько!

Ленин-дедушка меня
садит на коленочки,
не ругая, не виня
и не ставя к стеночке.

Ленин, дедушка родной!
Ленинчик! Дедулечка!
Гладит ласковой рукой,
кормит чаем с булочкой.

Деда, дедушка родной,
лысенький, усатый...
Разве Ленин это? Стой!
У калитки сада

это ж дедушка Борис,
настоящий деда!
Ну, взглядишь же, ну проснись!
И сомнений нету!

Это сад наш, это сад,
проданный кому-то!
Дедушка-покойник рад
в солнечное утро,

в шляпе из соломы старой,
в галифе, в сандалях,
с тяткою стоять на грядке
во саду весеннем.

Вот и я. Конечно, я!
Хоть поверить трудно.
В тубетейке у крыльца
с зайцем деревянным.

На колесах, с барабаном
заяц одноухий...
То ли май, то ли июнь.
Припекает солнце.

Ничего пока что нету —
ни плодов, ни ягод.
Только щавель молодой,
только светит солнце.

Только виноградный лист,
молодой и кислый.
Только зелень, только синь.
Ссадина на локте.

А потом пойдут — крыжовник,
яблоки зеленые,
и оскому я набыю
черною смородиной.

Всей семьей придем мы в сад
к домику фанерному
и, шампурами звеня,
сядем под черешней.

И малиновой настойки
мне дадут глоточек,
а потом еще украдкой
я глотну три раза.

И запомню этот вкус,
этот цвет навеки,
этот сад, фанеру эту,
птицу на черешне.

Зелень-зелень, зелень-синь,
воскрешенный дедушка.
Сон не сон и жизнь не жизнь,
просто пробуждение.

К О Н Е Ц

*Сквозь
прощальные
слезы*

1987 г.

Людмиле Кибировой

*«Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.*

.....

*А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И внук отвернется в тоске.»*

АННА АХМАТОВА

ВСТУПЛЕНИЕ

Пахнет дело мое керосином,
Керосинкой, сторонкой родной,
Пахнет «Шипром», как бритый мужчина,
И как женщина, — «Красной Москвой»
 (Той, на крышечке с кисточкой), мылом,
 Банным мылом да банным листом,
 Общепитской подливкой, гарниром,
 Пахнет булочной там, за углом.
Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Я чую,
Чую, Господи, нос не зажму —
«Беломором», Сучаном, Вилюем,
Домом отдыха в синем Крыму!

 Пахнет вываркой, стиркою, синькой,
 И на ВДНХ шашлыком,
 И глотком пертусина, и свинкой,
 И трофейным австрийским ковром,
Свежеглаженным галстуком алым,
Звонким штандыром на пустыре,
И вокзалом, и актовым залом,
И сиренью у нас на дворе.
 Чуешь, сволочь, чем пахнет? — Еще бы!
 Мне ли, местному, нос воротить? —
 Политурой, промасленной робой,
 Русским духом, едрить-колотить!
Вкусным дымом пистонов, карбидом,
Горем луковым и огурцом,
Бигудями буфетчицы Лиды,
Русским духом, и страхом, и мхом.
 Заскорузлой подмышкой мундира,
 И гостиницей в Йошкар-Оле,
 И соляркою, и комбижиром
 В феврале на холодной заре,

И антоновкой ближе к Калуге,
И в моздокской степи анашой,
Чуешь, сука, чем пахнет?! — и вьюгой,
Ой, вьюгой, воркутинской пургой!
Пахнет, Боже, сосновой смолоу,
Ближнем боем да раной гнилой,
Колбасой, колбасой, колбасою,
Колбасой — все равно колбасой!
Неподмытым общаговским блудом,
И бензином в попутке ночной,
Пахнет Родиной — чуешь ли? — чудом,
Чудом, ладаном, Вестью Благой!
Хлоркой в пристанционном сортире,
Хвоей в предновогоднем метро.
Постным маслом в соседской квартире
(Как живут они там впятером?
Как ругаются страшно, дерутся...).
Чуешь — Русью, дымком, портвешком,
Ветеранами трех революций.
И еще — леденцом-петушком,
Пахнет танцами в клубе совхозном
(Ох, напрасно пришли мы сюда!),
Клейкой клятвой листвы, туберозной
Пахнет горечью, и никогда,
Навсегда — канифолью и пухом,
Шубой, Шубертом... Ну, — задолбал!
Пиром духа, пацан, пиром духа,
Как Некрасов В.Н. написал!
Пахнет МХАТом и пахнет бытовкой,
Люберецким дурным кулаком,
Елисеевским и Третьяковкой,
Русью пахнет, судьбою, говном.
Черным кофе двойным в ЦДЛе.
— Врешь ты все! — Ну, какао в кафе.
И урлой, и сырою шинелью
В полночь на гарнизонной губе.

Хлорпикрином, заманом, зарином,
Гуталином на тяжелой кирзе,
И родимой землю, и глиной,
И судьбой, и пирожным безе.
 Чуешь, чуешь, чем пахнет? — Конечно!
 Чую, нюхаю — псиной и сном,
 Сном мертвецким, похмельем кромешным,
 Мутноватым грудным молоком!
Пахнет жареным, пахнет горелым
Аллергеном — греха не тай!
Пахнет дело мое, пахнет тело,
Пахнут слезы, Людмила, мои.

ГЛАВА I

Купим мы кровью счастье детей.

П.ЛАВРОВ

Спой же песню мне, Глеб Кржижановский!
Я сквозь слезы тебе подпою,
Подскулю тебе волком тамбовским
На краю, на родимом краю!

На краю, за фабричной заставой
Силы черные злобно гнетут.

Спой мне песню, парнишка кудрявый,
Нас ведь судьбы безвестные ждут.

Это есть наш последний, конечно,
И единственный, видимо, бой.
Цепи сбрасывай, друг мой сердешный,
Марш навстречу заре золотой!

Чтоб конфетки-бараночки каждый
Ел от пуза под крышей дворца —
Местью правой, священной жаждой
Немудрящие пышут сердца.

Смерть суровая злобным тиранам,
И жандармам, и лживым попам,
Юнкерам, гимназисткам румяным,
Толстым дачникам и буржуйам!

Эх, заря без конца и без края,
Без конца и без края мечта!

Объясни же, какая такая
Овладела тобой правота?

Объясни мне, зачем, для чего же,
Растирая матросский плевок,
Корчит рожи Европе пригожей
Сын профессорский, Сашенька Блок?

Кепку комкает идол татарский,
Призывая к порядку Викжель,
Рвется Троицкий, трещит Луначарский,
Только их не боюсь я уже!

Я не с ними мирюсь на прощанье.
Их-то я не умею простить.
Но тебя на последнем свиданьи
Я не в силах ни в чем укорить!

Пой же, пой, обезумевший Павка,
И латыш, и жидок-коммисар,
Ясный сокол, визгливая шавка,
Голоштанная, злая комса!

Пой же, пой о лазоревых зорях,
Вшивота, в ледяном Сиваше.
Пой же, пой, мое горькое горе,
Кровь на воротах, рот до ушей!

Мой мечтатель-хохол окаянный,
Помнят псы-атаманы тебя,
Помнят гордые польские паны.
Только сам ты не помнишь себя.

Бледный, дохлый, со взором горящим,
Пой, селькор, при лучине своей,
Пой, придуманный, пой, настоящий
Глупый дедушка Милы моей!

Мой буденовец, чоновец юный,
Отложи «Капитал» хоть на миг,
Погляди же, как жалобно Бунин
На прощанье к сирени приник!

Погоди, я тебя ненавижу,
Не ори, комиссар, замолчи!
Черной молью, летучею мышью
Плачет дочь камергера в ночи!

И поет, что поломаны крылья,
Жгучей болью всю душу свело,
Кокаина серебряной пылью
Всю дорогу мою замело!

Из Кронштадта мы все, из Кронштадта,
На кронштадский мы брошены лед!
Мечь суровая всем супостатам,
Ни единый из нас не уйдет!

И отравленным черным патроном
С черной челочкой Фани Каплан
На заводе, заметь — Михельсона!
Разряжает преступный наган.
Эй, поручик, подайте патроны,
Оболенский, налейте вина!

В тайном ларчике ваши погоны
Сохранит поэтесса одна.

Петька Анке показывал щечки,
Плыл Чапай по Уралу-реке.
Это есть наш последний денечек,
Блеск зари на холодном штыке!

И куда же ты, яблочко, катишь?
РВС, ВЧК, РКК.

Час расплаты настал, час расплаты,
Так что наша не дрогнет рука!

И, повысив звенящие шашки,
Рубанем ненавистных врагов —
Ты меня — от погона до пряжки,
Я тебя — от звезды до зубов.

Никогда уж не будут рабами
Коммунары в сосновых гробах,
В завтра светлое, в ясное пламя
Вы умчались на красных конях!

Хлопцы! Чьи же вы все-таки были?
Кто вас в бой, бестолковых, увлек?
Для чего вы со мною рубились,
Отчего я бежал наутек?

Стул в буржуйке потрескивал венский.
Под цыганский хмельной перебор
Пил в Констанце тапер Оболенский,
А в Берлине Голицын-шофер.

Бились, бились, товарищ, сражались.
Ни бельмеса, мой друг, ни аза.
Так чему ж вы сквозь дым улыбались,
Голубые дурные глаза?

Погоди, дуралей, погоди ты!
Ради Бога, послушай меня!
Вот оно, твое сердце, пробито
Возле ног вороного коня.

Пожелай же мне смерти мгновенной
Или раны — хотя б небольшой!
Угорелый мой брат, оглашенный,
Я не знаю, что делать с тобой.

Погоди, я тебя не обижу,
Спой мне тихо, а я подпою.
Я сквозь слезы прощальные вижу
Невиновную морду твою.

Погоди, мой товарищ, не надо.
Мы уже расквитались сполна.
Спой мне песню: Гренада, Гренада.
Спойте, мертвые губы: Грена...

ГЛАВА II

«Ты рядом, даль социализма...»

Б.ПАСТЕРНАК

Спойте песню мне, братья Покрассы!
Младшим братом я вам подпою.
Хлынут слезы нежданные сразу,
Затуманят решимость мою.
И жестокое, верное слово
В горле комом застрянет моем.
Толстоногая, спой мне, Орлова,
В синем небе над Красным Кремлем!
Спой мне, Клим в исполнении Крючкова,
Белозубый танкист-тракторист,
Спой, приветливый и бестолковый
В брюках гольф иностранный турист!
Покоряя пространство и время,
Алый шелк развернув на ветру,
Пой, мое комсомольское племя,
Эй, кудрявая, пой поутру!
Заклученный каналоармеец,
Спой и ты, перекованный враг!
Светлый путь все верней и прямее!
Спойте хором, бедняк и средняк!
Про счастливых детишек колонны,
Про влюбленных в предутренней мгле,
Про снующие автофургоны
С аппетитною надписью «Хлеб».
Почтальон Харитоша примчится
По проселку на стан полевой.
Номер «Правды» — признались убийцы,
Не ушли от расплаты святой!

И по тундре, железной дороге
Мчит курьерский, колеса стучат,
Светлый путь нам ложится под ноги,
Льется песня задорных девчат!

На далеком лесном пограничье,
В доме отдыха в синем Крыму
Лейся, звонкая песня девичья,
Чтобы весело было Ему!

Так припомним кремлевского горца!
Он нас вырастил верных таких,
Что хватило и полразговорца,
Шевеления губ чумовых.

Выходи же мой друг, заводи же
Про этапы большого пути.
Выходи, я тебя не обижу.
Ненавижу тебя. Выходи.

Ах, серпастый ты мой, молоткастый,
Отчего ты свободе не рад,
О которой так часто, так часто
В лагерях до зари говорят?

Спой мне, ветер, про счастье и волю,
Звон подков по брусчатке святой,
Про партийный наказ комсомолу
И про маршала первого спой!

Праздник, праздник в соседнем колхозе!
Старый пасечник хмыкнул в усы,
Над арбузом жужжащие осы,
Гармонист подбирает басы,

Под цветущею яблоней свадьба —
Звеньевую берет бригадир!

Все бы петь тебе, радость, плясать бы
Да ходить в ДОСААФовский тир!

От успехов головокруженье!

Рано, рано трубить нам отбой!

Видишь, Маша, во мраке движенье?

Враг во тьме притаился ночной!

Там в ночи полыхают обрезы,
Там в муку подсыпают стекло,
У границы ярится агрессор,
Уклонисты ощерились зло!

Рыков с Радеком тянут во мраке
К сердцу Родины когти в крови!
За Ванцетти с бедняжкой Сакко
Отомсти! Отомсти! Отомсти!

Вот, гляди-ка ты — два капитана
За столом засиделись в ночи.

И один угрожает наганом,
А второй третьи сутки молчит.
Капитан, капитан, улынитесь!

Гражданин капитан! Пощади!
Распишитесь вот тут. Распишитесь!!
Собирайся. Пощады не жди.

Это дедушка дедушку снова
На расстрел за измену ведет.
Но в мундире, запекшемся кровью,
Сам назавтра на нарах гниет.

Светлый путь поднимается в небо,
И пастух со свинаркой поет,
И чудак-академик нелепо
Все теряет, никак не найдет.

Он в пенсне старомодном, с бородкой,
Улыбается, тоже поет.

А потом исполняет чечетку
Славный артиллерийский расчет.

Микоян раскрывает страницы
Кулинарные — блещет крахмал,
Поросенок шипит, золотится,
Искрометный потеет бокал!

Ветчина, да икорка, да пайка,
Да баланда, да злой трудовдень...

Спой мне, мальчик в спартаковской майке,
Спой, черемуха, спой мне, сирень!

Спой мне, ветер, веселый мой ветер,
Про красивых и гордых людей,
Что поют и смеются, как дети,
На просторах Отчизны своей!

Спой о том, как под солнцем свободы
Расцвели физкультура и спорт,
Как внимают Равелю народы,
И как шли мы по трапу на борт.

Кто привык за победу бороться,
Мою пайку отнимет и жрет.

Доходяга, конечно, загнется,
Но и тот, кто покрепче, дойдет.

Эх ты, волюшка, горькая водка,

Под бушлатиком белая вошь,

Эх, дешевая фотка-красотка,

Знаю, падла, меня ты не ждешь.

Да и писем моих не читаешь!

И встречать ты меня не придешь!

Ну а если придешь — не узнаешь,

А узнаешь — сама пропадешь.

Волга, Волга! За что меня взяли?

Ведь не волк я по крови своей!

На великом, на славном канале

Спой мне, ветер, про гордых людей!

Но все суше становится порох,

И никто никуда не уйдет.

И акын в прикаспийских просторах

О батыре Ежове поет.

ГЛАВА III

*Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил.*

ИСАКОВСКИЙ

Спой же песню мне, Клава Шульженко,
Над притихшею темной Москвой,
Над сожженной врагом деревенькой,
Над наградой и раной сквозной!

Спой, мой дядя семнадцатилетний,

В черной раме на белой стене...

Беззаветный герой, безответный,

Как с тобой-то разделаться мне?

Не умею я петь про такое,

Не умею, комдив, хоть убей!

Целовать бы мне знамя родное

У священной могилы твоей.

Не считайте меня коммунистом!!

И фашистом прошу не считать!

Эх, танкисты мои, гармонисты.

Спойте, братцы. Я буду молчать.

Пой, гармоника, пой дорогая.

Я молчу. Только пули свистят.

Кровь родная, я все понимаю.

Сталинград, Сталинград, Сталинград.

Сталинград ведь!! Так что же мне делать?

Плакать плачу, а петь не могу...

В маскхалате своем красно-белом

Пой, пацан, на горячем снегу.

Сын полка, за кого же ты дрался?

Ну ответь, ну скажи — за кого?

С конармейскою шашкой бросался

За кого ты на «Тигр» броневой?

Впрочем, хватит! Ну хватит! Не надо,
Ну, нельзя мне об этом, земляк!..
Ты стоишь у обугленной хаты,
Еле держишься на костылях.
Чарка горькая. Старый осколок.
Сталинград ведь, пойми — Сталинград!
Ты прости — мне нельзя про такое,
Про такое мне лучше молчать.

ГЛАВА IV

Нет Ленина — вот это очень тяжко!

Е.ЕВТУШЕНКО

Спой мне, Бабаджанян беззаботный!
Сбациай твист мне, веселый Арно!
подавившись слезой безотчетной,
Расплывусь я улыбкой дурной.
Спой же песню мне — рулатэ-рула!
Ох уж, рула ты, рула моя!
До свиданья, родной переулочок!
Нас таежные манят края!
Все уже позади, мой ровесник,
Страшный Сталин и Гитлер-подлец.
Заводи молодежную песню
Про огонь комсомольских сердец!
Потому что народ мы бродячий,
И нельзя нам иначе, друзья,
Молодою любовью горячей
Мы согреем родные края.
Э-ге-ге, эге-гей, хали-гали!
Шик-модерн, Ив Монтан, хула-хуп!
Вновь открылись лазурные дали
За стеной коммунальных халуп.
Летка-енка ты мой Евтушенко!
Лонжюмо ты мое, Лонжюмо!
Уберите же Ленина с денег,
И слонят уберите с трюмо!
Шик-модерн, треугольная груша,
Треугольные стулья и стол!
Радиолу веселую слушай,
Буги-вуги, футбол, комсомол!

Барахолка моя, телогрейка,
Коммуналка в слезах и соплях.
Терешкова, и Белка и Стрелка
Надо мною поют в небесах!

Кукуруза-чудесница пляшет,
Королева совхозных полей,
И Пика́ссо нам радостно машет
Прихотливою кистью своей.

«Ленин» атомоход пролагает
Верный путь через льды и метель.
Только Родина слышит и знает
Чей там сын в облаках пролетел.

Телевизор в соседской квартире,
КВН, «Голубой огонек».

Спойте, спойте мне, физик и лирик,
Про романтику дальних дорог!

С рюкзаком за спиной молодую
Мы геологи оба с тобой.

Все мещане стремятся к покою,
Только нам по душе непокой!

Опускайся в глубины морские!

Поднимайся в небесную высь!

Где б мы ни были — с нами Россия!

Очень вовремя мы родились.

Так что — бесамэ, бесамэмуча!

Так крутись, веселись, хула-хуп!

Все светлее, товарищ, все лучше

Льется песня из девичьих губ!

И в кафе молодежном веселье —

Комсомольская свадьба идет!

Нас, любимая, ждет новоселье,

Ангара величавая ждет.

Юность на мотороллере мчится

Со «Спидолой» в спортивных руках!

Плащ болонья шумит, пузырится,

Луч играет на темных очках.

Парни, парни! Не в наших ли силах
Эту землю от НАТО сбересть?
Поклянемся ж у братской могилы
Щит хранить на петличках и меч!
Дядю Сэма с ужасною бомбой
Нарисуй мне, малыш, на листке,
Реваншиста, Батисту и Чомбе!
«Миру мир» подпиши в уголке!..
Добровольцы мои, комсомольцы!
Беспокойные ваши сердца
То сатурновы меряют кольца,
То скрипят португеей отца,
То глядят вернисаж неизвестных,
В жарких спорах встречая рассвет...
Вслед гляжу я вам, добрым и честным.
Ничего-то в вас, мальчики, нет.
Ах, культ личности этой грузинской!
Много все же вреда он принес!
Но под светлый напев Кристалинской
Сладко дремлет кубанский колхоз.
Гнусных идолов сталинских скинем,
Кровь и прах с наших ног отряхнем.
Только о комсомольской богине
Спой мне — ах, это, брат, о другом.
Все равно мы умрем на гражданской —
Трынь да брынь — на гражданской умрем,
На венгерской, на пражской, душманской...
До свиданья, родимый райком!
Над Калугой, Рязанью, Казанью,
По-над баней — сияньс знамен!
Бабушка, отложи ты вязанье,
Научи танцевать чарльстон!
Че-че-че, ча-ча-ча, Че Гевара!
Вновь гитара поет и поет!
Вновь гитара, и вновь Че Гевара!
ЛЭП-500 над тайгою встает.

И встречает посланцев столица,
Зажигается Вечный огонь.
Ваня Бровкин, и Перепелица,
И Зиганшин поют под гармонию.
Накупивши нарядных матрешек,
Спой, Поль Робсон, про русскую мать!
Уберите же Ленина с трешек! —
Больше нечего нам пожелать!
И до счастья осталось немного —
Лишь догнать, перегнать как-нибудь,
Ну, давай, потихонечку трогай.
Только песню в пути не забудь.
Ах ты, бесамэ, ах, Че Гевара!
Каблучки по асфальту стучат.
И опять во дворе нашем старом
Нам пластинка поет про девчат.
Над бульваром хрущевское лето.
Караул у могильной плиты.
И на шпилечках с рыжей бабеттой
Королева идет красоты.
Заводите торшеры и столик,
Шик-модерн, целлофан, поролон.
Уберите вы Ленина только
С денег — он для сердец и знамен!
Ах, орлиного племени дети,
Все мечтать бы вам, все бы мечтать,
Все бы верить, любить беззаветно,
Брюки узкие рвать и метать.
Спой же песню, стилижка дурная,
В брючках-дудочках, с конским хвостом,
Ты в душе-то ведь точно такая.
Спой мне — ах, это, брат, о другом!
Пой же солнцу и ветру навстречу.
Выходи, боевой стройотряд!
Вдоль по улочке нашей Заречной
Улетает восторженный взгляд.

Что ты смотришь, и что ты там видишь?

Что ты ждешь? — не пойму я никак.

Очень Сталина ты ненавидишь,

Очень Ленина любишь, дурак.

Каблучки в переулке знакомом

Все стучат по асфальту в тиши.

Люди Флинта с путевкой обкома

Что-то строят в таежной глуши.

Вьется переходящее знамя —

Семилетке салют боевой.

И гляжу я вам вслед со слезами —

Ничего-то в вас нет, ничего!

Трынь да брынь — вот и вся ваша

смелость!

На капустник меня не зови!

Но опять во дворе — что ж тут делать —

Мне пластинка поет о любви!

И навстречу заре уплывая,

По далекой реке Ангаре,

Льется песня от края до края!

И пластинка поет во дворе!

И покамест ходить я умею,

И пока я умею дышать.

Чуть прислушаюсь — и онемею!

Каблучки по асфальту стучат!

ЛИРИЧЕСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Смотрят замки, горы, доли
В глубь хрустальных рейнских вод.
Моцарт, Моцарт, друг веселый,
Под руку меня берет.
Час вечерний, луч прощальный,
Бьют на ратуше часы.
Облака над лесом дальним
Удивительной красы.
Легкий дым над черепицей,
Липы старые в цвету.
Ах, мой друг, пора проститься!
Моцарт! Скоро я уйду!
Моцарт! Скоро я уеду
За кибиткой кочевой.
У маркграфа на обеде
Я не буду, дорогой.
Передай поклон Миньоне.
Альманах оставь себе.
Друг любезный! Я на зоне
Буду помнить о тебе.
Знаешь край? Не знаешь края,
Где уж знать тебе его!
Там, над кровлей завывая,
Бьются бесы — кто кого!
Там такого мозельвейна
Поднесут тебе, дружок,
Что скопытишься мгновенно
Со своих прыгучих ног.
Там и холодно и страшно!
Там прекрасно! Там беда!
Друг мой, брат мой, ночью ясной
Там горит моя звезда.

Знаешь край? Я сам не знаю,
Что за край такой чудной,
Но туда, туда, туда я
Должен следовать, родной.

Кто куда — а я в Россию,
Я на родину щегла.

Иней белый, ситец синий.

Моцарт, Моцарт! Мне пора.

Кто о чем, а я о бане,
О кровавой бане я...

До свиданья, до свиданья!

Моцарт! Не забудь меня!

Я иду во имя жизни

На земле и в небесах,

В нашей радостной Отчизне,

В наших радужных лучах!

Ждет меня моя сторонка,

Край невыносимый мой!

Моцарт рассмеялся звонко:

«Что ж, и я не прочь с тобой!»

Моцарт, друг ты мой сердечный,

Таракан запечный мой!

Что ты гонишь, дух беспечный,

Сын гармонии святой!

Ну куда тебя такого?

Слишком глуп ты, слишком юн.

Что для русского здорово,

То для немца карачун!

Нет уж! Надо расставаться!

Полно, херц, майн херц, уймись!

Больше нечего бояться.

Будет смерть и будет жизнь.

Будет, будет звук тончайший

По-над бездною лететь,

И во мраке глубочайшем

Луч легчайший будет петь!

Так прощай же! За горою
Ворон каркает ночной.
Моцарт, Моцарт, Бог с тобою!
Бог с тобою и со мной!
Моцарт слушал со вниманьем.
Опечалился слегка.
«Что ж, прощай. Но на прощанье
На, возьми бурундука!
В час печали, в час отчаянья
Он тебя утешит, друг,
Мой пушистый, золотистый,
Мой волшебный бурундук!
Вот он, зверик мой послушный,
Глазки умные блестят,
Щиплют струны лапки шустры
И по клавишам стучат!»
Ай, спасибо, Моцарт, милый,
Ах, прекрасный бурундук!
До свиданья! До могилы
Я с тобой, любезный друг!
И иду, иду в Россию.
Оглянулся — он стоит.
Сквозь пространства роковые
Моцарт мне вослед глядит.
Машет, машет треуголкой,
В золотом луче горя,
И ему со Вшивой Горки
Помахал ушанкой я.
Гадом буду — не забуду
Нашей дружбы, корешок,
Ведь всегда, везде со мною
Твой смешной бурундучок.
И под ватничком пригревшись,
Лапки шустры сложив,
Он поет, и я шагаю
Под волшебный тот мотив.

ГЛАВА V

Час мужества пробил на наших часах...

АННА АХМАТОВА

Что ж, давай, мой Шаинский веселый.
Впрочем, ну тебя на фиг! Молчи!
Все закончено. В частности, школа.
Шейк на танцах платформой стучит.
БАМ, БАМ, БАМ! Слышишь, время запело?
БАМ да БАМ, ОСВ, миру мир!
Развитой мой, реальный и зрелый,
БАМ мой, БАМ, Коопторг да ОВИР.
Ах, мой хаер, заветный мой хаер,
Как тебя деканат обкарнал!
Юность бедная, бикса плохая.
Супер райфл, супер стар, «Солнцедар».
— Что там слышно? — Меняют кого-то
На Альенде. — Да он ведь убит?!
— Значит на Пиночета! — Да что ты!!
Пиночет-то ведь главный бандит!!
Пиночет. Голубые гитары.
Озирая родную дыру,
Я стою, избежав семинара,
У пивного ларька поутру.
Ах, Лефортово, золотце, осень...
Той же ночью в вагоне пустом
Зуб мне вышибет дембель-матросик,
Впрочем, надо сказать, поделом.
А потом, а потом XXV-й
Съезд прочмокал и XXVI-й,
И покинули хаты ребята,
Чтобы землю в Афгане... Пстой!

Хватит! Что ты, ей-богу. Не надо.
Спой мне что-нибудь. — Нечего спеть.
Все ведь кончено. Радость-отрада,
Нам уже ничего не успеть!

Все ведь кончено. Так и запишем —
Не сбылась вековая мечта.

Тише, тише! Пожалуйста, тише!

Не кричи, ветеран-простота.

Город Солнца и Солнечный Город,
Где Незнайка на кнопки жал, —
Все закончено. В Солнечногорске
Строят баню и автовокзал.

В парке солнечногорском на танцах
Твой мотив не канает, земляк!

А в кино юморят итальянцы,

А в душе — мутота и бардак.

Все ведь кончено. Зла не хватает.
Зря мы только смешили людей.

И «Союз-Апполон» проплывает
Над черпацкой пилоткой моей.

Мама Сталина просит не трогать,

Бедный папа рукою махнул.

Дорогие мои! Ради Бога!

Ненарошно я вас обманул!

Все ведь кончено. Выкрась да выбрось.

Перестрой, разотри и забудь!

Изо всех своих славных калибров

Дай, Коммуна, прощальный салют!

Змий зеленый пяту твою гложет,

Оплетает твой бюст дорогой —

Это есть наш последний, ну может,

Предпоследний решительный бой.

Рейганомика блещет улыбкой,

Аж мурашки бегут по спине.

Ах, минтай, моя добрая рыбка!

Что тобою закусывать мне?

И могучим кентавром взъярился
(это Пригов накликнул беду!),
Рональд Рейган на нас навалился!
Спой мне что-нибудь, хау ду ю ду!
 Рональд Рейган — весны он цветенье!
 Рональд Рейган — победы он клич!
 Ты уже потерпел поражение,
 Мой Черненко Владимир Ильич!
Значит, сны Веры Палны — не в руку,
Павка с Павликом гибли зазря,
Зря Мичурин продвинул науку,
Зря над нами пылала заря!
 И кремлевский мечтатель напрасно
 Вешал на уши злую лапшу
 Ходокам и английским фантастам,
 И напрасно я это пишу!
И другого пути у нас нету!
Паровоз наш в тупик прилетел,
На запасном пути беспросветном
Бронепоезд напрасно ревел!
 Остановки в коммуне не будет!
 Поезд дальше вообще не пойдет!
 Выходите, дурацкие люди,
 Возвращайтесь, родные, вперед.
Все ведь кончено. Хлеб с маргарином,
Призрак бродит по Африке лишь.
В два часа подойди к магазину,
Погляди и подумай, малыш.
 Как-то грустно, и как-то ужасно.
 Что-то будет у нас впереди?
 Все напрасно. Все очень опасно.
 Погоди, тракторист, погоди!..
Мне б злорадствовать, мне б издеваться
Над районной культуры дворцом.
Над рекламой цветной облигаций.
Над линялым твоим кумачом.

Над туристами из Усть-Илима
В Будапеште у ярких витрин.
Над словами отца Питирима,
Что народ наш советский един,
Над твоей Госприемкою сраной,
Над гостиницей в Йошкар-Оле,
Над растерянным, злым ветераном
Перед парочкой навеселе,
Над вестями о зерно-бобовых,
Над речами на съезде СП,
Над твоей сединой бестолковой,
Над своею любовью к тебе.
Над дебильною мощью Госснаба
Хохотать бы мне что было сил —
Да некрасовский скорбный анапест
Носоглотку слезами забил.
Все ведь кончено. Значит — сначала.
Все сначала — Ермак да кабак,
Чудь да меря, да мало-помалу
Петербургский, голштинский табак.
Чудь да меря. Фома да Емеля.
Переселок. Пустырь. Буерак.
Все ведь кончено. Нечего делать.
Руку в реку. А за руку — рак.

ЭПИЛОГ

Господь, благослови мою Россию,
Спаси и сохрани мою Россию,
В особенности — Милу и Шапиро.
И прочую спаси, Господь, Россию.
Дениску, и Олежку, и Бориску,
Сережку и уролога Лариску,
Всех Лен, и Айзенбергов с Рубинштейнами,
И злую продавщицу бакалейную.
И пьяницу с пятном у левой вытачки,
И Пригова с Сухотиным, и Витечку,
И Каменцевых с Башлачевым Сашечкой,
И инженера Кислякова Сашечку,
А.И., А.Ю., А.А. и прочих Кобзевых,
И бригадира рыжего колхозного,
Сопровского, Гандлевского и Бржевского,
И Фильку, и Сережку Чепилевского.
Благослови же, Господи, Россию!
В особенности, Милу и Шапиро,
Шапиро и Кибирову Людмилу!
И Семушку с Варварой, и Семеныча,
Натаныча, Чачко и Файбисовича,
С.Хренова, Булатова, Васильева,
И Туркина, и Гуголева сильного,
Сестренку, папу, маму и покойников,
И бабушку, и Алика с Набоковым,
И Пушкина, и Н. и В. Некрасовых,
И рядового Масича атасного.
Малкову, и Борисову прелестную,
И ту, уже не помню, неизвестную,
Спаси, Иисус, микрорайон Беляево!
Ну а Черненко как же? — Да не знаю я!

Ну и Черненко, если образумится!
Спаси, Иисусе, Родину неумную!
И умную спаси, Иисусе, Родину!
Березки, и осины, и смородину!
Благослови же, Господи, Россию,
В особенности Милу и Шапиро,
Шапиро Мишу и Шапиро Иру!
Олежку, и Сережку и так далее!
И Жаннку, и Анжелку и так далее!
Сазонова сержанта и так далее!
И Чуню, и Дениску и так далее!
В особенности — Англию с Италией,
Америку и Юлю с Вероникою!
Спаси, Иисусе, Родину великую!
Спаси, Господь, неловкую Россию,
И Подлипчук, и Милу, и Шапиро,
И ветерана в стареньком мундире!
Спаси, Господь, несчастного Черненко!
Прости, Господь, опасного Черненко!
Мудацкого, уродского Черненко!
Ведь мы еще глупы и молоденьки,
И мы еще исправимся, Иисусе!
Господь! Прости Советскому Союзу!

К О Н Е Ц

*Три
послания*

1987 — 1988 г.г.

Л.С.РУБИНШТЕЙНУ

*Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте,
и возле уже не было видно людей.*

*Студент подумал, что если Василиса заплакала,
а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что
рассказывал, что происходило 19 веков назад,
имеет отношение к настоящему — к обеим женщинам и,
вероятно, к этой пустынной деревне,
к нему самому, ко всем людям.*

А.П.Чехов, «Студент»

1

Лева милый! Энтропия!
Энтропия, друг ты мой!
Только мы стоим босые
с непокрытой головой.

Мы босые, небольшие,
осененные листвой,
пишем в книжки записные
по-над бездной роковой.

Лишь лучи свои косые
тянет вечер золотой.
Лишь растения живые
нам кивают головой.

Лишь цветочки — до свиданья!
Облака — в последний раз!
Лишь прольется на прощанье
влага светлая из глаз.

Лишь продукты пропитанья
вкус наш радуют подчас...
Но готовься жить заранее
без ветчин и без колбас!

2

Без кондитерских изделий!
Без капусты! Без грибов!
Без лапши! Без вермишели!
Все проходит. Будь готов.

Все проходит. Все не вечно.
Энтропия, друг ты мой!
Как чахотка, скоротечно
и смешно, как геморрой,

и как СПИД... Ты слышишь, Лева?
Слушай, Лева, не вертись!
Все равно, и все фигово.
Что нам делать? Как спастись?

Даже Семиною водкой
чокаясь в кругу друзей,
про себя я знаю четко:
все фигово, пей не пей!

Пой не пой — фигово, Лева!
Нету, нету ничего!
Дым багровый. Ров дерьмовый.
Вой кошачий половой.

Даже женским бюстом, Лева,
упиваясь в час ночной,
знаю я, что все фигово.
Знаю, знаю, дорогой.

3

Все проходит. Все проходит.
Опадает маков цвет.
Безобразья нет в природе.
Но и нас с тобою нет.

Нет как нет, и быть не может!
Впереди и позади
страшно, Лева! Ну и рожи!
Ну их на фиг! Не гляди!

Тише, тише, Лева милый!
Лев Семеныч, любера!
Энтропии свет постылый
заливает вечера.

Надвигается, послушай,
надвигается пиздец!
Тише, тише, глуше, глуше
колыхания сердец.

Тише, тише, глуше, глуше,
глубже, глубже. Навсегда.
Лев Семеныч! Наши души
быстротечны, как вода.

Быстротечны, быстроходны,
мчатся, мчатся — не догнать...
Ярость, Лева, благородна,
но бессмысленна, видать.

Солнце всходит и заходит.
Тополь листья тербит.
Все красиво. Все проходит.
«До свиданья!» — говорит.

Золотистые листочки.
Голосистый соловей.
Золотистый пух на щечках
у любимой у моей.

Золотистый пух на щечках,
золотистый пух везде!
Светло-синие чулочки!
Темно-синее годэ!

И продукты пропитанья,
сервелат и карбонат!..
До свиданья, до свиданья!
Я ни в чем не виноват!

Где ж утраченная свежесть
на лазоревом коне?
Зубы, волосы все реже,
и все чаще страшно мне.

Дьявол в черном коленкоре
ироничен и речист,
умник, бабник и обжора,
то фашист, то коммунист,

дух вражды и отрицанья,
сытый, гладкий молодец!
Днесь сбываются Писанья,
надвигается Пиздец!

Над кладбищем ветер свищет.
Страшно, страшно! У-у-у!
Вот те право на жилище,
пища пылкому уму!

И хоть стой, хоть падай, Лева!
Хоть ты тресни — хоть бы что!
Все действительно фигово.
Все проходит. Все ничто.

5

Осень, Лев Семеныч, осень.
На печальном склоне лет
дать ответ мы жадно просим.
Знак согласия в ответ.

Осень, Лев Семеныч, осень.
Опадает лесопарк.
Вместе с горестным вопросом
изо рта струится пар.

Ходят девки испитые,
не дождавшись любви.
И летят листья золотые,
словно карточки твои.

Твои карточки, как листья,
так сухи, печальны так...
В небе холодно и чисто.
В небе выгоревший стяг.

Ё-мое, товарищ Лева,
Ё-мое и ё-твое.
Все фигово. Все фиговой
тянется житье-бытье.

Что стояло — опадает.
Выпадает, что росло.
В парке девушка рыдает,
опершись на весло.

Гипс крошится, пропадает.
Нос отбит хулиганьем.
Арматура выползает
и ржавеет под дождем.

6

Осень, осень. Энтропия.
Не узнать весенних мест.
В инструменты духовые
дует ЖЭКовский оркестр.

Духовой оркестр играет.
Сон осенний. Две слезы.
Пудель грязный пробегает,
чьи-то нюхает следы.

Духовой оркестр играет.
Две слезы да три сестры.
Сердце влагой набухает.
Все старо. И все стары.

И две пары — ах ты, Боже! —
вальс танцуют, Боже мой!
На кого они похожи!
Может, и на нас с тобой.

И одна из дам с авоськой
в шляпке дочери своей.
Хной подкрашена прическа.
Туфли старые на ней.

И в мохеровой беретке
рядом женщина кружит.
Плащ шуршит у мамы этой,
дряблая щека дрожит.

Кавалеры — ветераны
ВОВ, а может быть, и ВОСР,
отставные капитаны,
замполиты ПВО.

Кружат пары. Ах ты, Боже!
Две слезы. Да три войны.
Лев Семеныч! Ну и рожи!
Как они увлечены!

Сон осенний. Сумрак сонный.
Все и вся обречены.
Погляди же, Лев Семеныч, —
улыбаются они!!

Улыбайтесь, улыбайтесь
и кружитесь! Ничего!
Вспоминайте, вспоминайте
майский полдень грозовой!

Вы простите за нескромность,
за смешок из-за кустов.
Сердце влажное огромно.
Сон осенний. Нету слов.

Улыбайтесь, дорогие!
Не смущайтесь. Ерунда!
Мы сквозь листья золотые
Вас полюбим навсегда.

И оркестр зовет куда-то,
сердце тискает и мнет.
Эх, какой мы все, ребята,
добрый, в сущности, народ!

Ух и добрые мы люди!
Кто ж помянет о былом —
глазки вон тому иуде!...
Впрочем, это о другом.

7

Да и нынче все иное!
Солженицын зря потел!
Вот на Сталина грозою
Вознесенский налетел!

А за ним бойцы лихие!
Даже Вегин-исполин!
Мчатся бурей по России,
все герои, как один!

И на Сталина войною,
и на Берию войной!
Вслед за партией родною,
вслед за партией родной!

А вдали звенят струною
легионы нежных тех,
КСП своей слюною
начертавших на щите!

Впрочем, только ли слюною?
Розенбаум в Афган слетал,
с кровью красною чужою
сопли сладкие смешал.

Ох уж мне литература,
энтропия, сучья вошь,
волчье вымя, рыба шкура,
деревянный макинтош!

8

«Любишь метареалистов?» —
ты спросил меня, ханжу.
«Нет! — ответил я ершисто, —
Вкуса в них не нахожу!»

Нету вкуса никакого!
Впрочем, и не мудрено —
эти кушания, Лева,
пережеваны давно!

Пережеваны и даже
переварены давно!
Оттого такая каша.
Грустно, Лева, и смешно.

9

Извела меня Щербина,
Нина, звонкий наш Нинок!
Зря родился я мужчиной!
Вырву грешный между ног!

10

А в журнале «Юность», Боже,
хлещет новая волна!
Добираясь до Сережи,
нахлебался я сполна!

Вот уж смелые ребята!
Вот уж озорной народ!
Скоро кончится осада,
скоро ЦДЛ падет!

Запируют на просторе,
всяк виконт де Бражелон,
в разлитом этом море
энтропией поглощен.

11

Спросишь ты: «А ваше кредо?»
Наше кредо с давних пор —
«Задуманная беседа»,
развеселый разговор!

Этот шепчет в даль куда-то,
тот кикиморой орет.
Ох, какой мы все, ребята,
удивительный народ!

Не пропойцы мы, и вовсе
не причем маркиз де Сад!
Просто мы под сердцем носим
то, что носят в Госиздат!

Дай же Пригову стрекозу,
не жидись и не желей!
Мише дай стрекозу тоже.
Мне — 14 рублей!

А себе возьми, что хочешь.
Что ты хочешь? Ну возьми...
Все длиннее. Все короче.
Все короче наши дни.

И душе в заветной лире
как от тленья убежать?
Тонкой ниточкой, пунктиром
Все течет, не удержать.

Все течет и изменяет
нам с тобой и нас с тобой.
В черной яме пропадает
тонкий голос золотой.

12

Ты видал ли сон, о Лева?
Я видал его не раз!
Там, под небом бирюзовым,
видел я сидящих нас.

Розы там благоухали,
ласковый зефир витал,
серны легкие мелькали.
волны искрились меж скал.

Плектр струны коснется, Лева,
чаши пенятся вином.
Айзенберг в венке бордовом.
Все мы вместе за столом.

В чем-то белом, молодые,
с хрусталем и шашлыком,
и прелесницы младые
нам поют, и мы поем

так красиво, так красиво!
Так невинно, вкусно так!...
Лев Семеныч, мы в России.
Мрак, бардак да перетак.

13

Мрак да враг. Да щи, да каша.
Грозно смотрит таракан.
Я люблю Россию нашу.
Я пропал, и ты — не пан.

Я люблю Россию, Лева,
край белеющих берез,
край гибели пуховой,
рваных ран да пьяных слез.

Тараканы в барабаны.
Вошки-блошки по углам.
И мерещатся в тумане
пролетарии всех стран.

И в сыром ночном бурьяне,
заплутав, орет гармонь.
Со свинчаткою в кармане
ходит-бродит Угомон.

Бьют баклуши. Бьют кого-то.
Нас пока еще не бьют.
Бьют в господские ворота,
только им не отпрут.

Мрак да злак, да футы-нуты,
флаг-бардак, верстак-кабак,
елки-палки, нетто-брутто,
марш-бросок, пиздык-хуяк,

сикось-накось, выкрась-выбрось,
Сивцев Вражек, иван-чай,
Львов-Хабаровск, Кушка-Выборг,
жди-пожди да не серчай!

Тройка мчится, тройка скачет
в рыжей жиже по весне,
злого ямщика хуячит
злой фельдъегерь по спине.

По долинам и по взгорьям,
рюмка колом, комом блин.
Страшно, страшно поневоле
среди неведомых равнин!...

14

Слышу трели жаворонка.
Вижу росы на лугах.
Заливного поросенка.
Самогонку в стаканах.

Это все мое, родное,
это все хуе-мое!
То разгулье удалое,
то колючее жнивье,

то березка, то рябина,
то река, а то ЦК,
то зэка, то хер с полтиной,
то сердечная тоска!

То Чернобыль, то колонны,
то Кобзон, то сухогруз,
то не ветер ветку клонит,
то не Чкалов — это Руст!

То ли битва, то ли брюква,
то ли роспись Хохломы.
И на три веселых буквы
посылаемые мы.

15

На дорожке — трясогузка.
В роще — курский соловей.
Лев Семеныч! Вы — не русский!
Лева, Лева! Ты еврей!

Я-то хоть чучмек обычный,
ты же, извини, еврей!
Что ж мы плачем неприлично
Над Россиею своей?

Над Россиею своею,
над своею дорогой,
по-над Летой, Лорелеей,
и онегинской строфой,

и малиновою сливой,
розой черною в Аи,
и Фелицей горделивой,
толстой Каткою в крови,

и Каштанкою смешною,
Протазановой вдовой,
черной шалью роковою,
и процентщицей седой,

и набоковской ванессой,
мандельштамовской осой,
и висящей поэтессой
над Елабугой бухой!

Пусть впрысядку мы не пляшем
и не окаем ничуть,
пусть же в Сухареву башню
нам с тобой заказан путь,

мы с тобой по-русски, Лева,
тельник на груди рванем!
Ведь в начале было Слово,
пятый пункт уже потом!

Ведь вначале было Слово:
несть ни эллина уже,
ни еврея никакого,
только слово на душе!

Только слово за душою
энтропии вопреки
над Россиею родною,
над усадьбой у реки.

16

Ты читал газету «Правда»?
Что ты, Лева! Почитай!
Там такую режут правду!
Льется гласность через край!

Эх, полным-полна параша!
Нам ее не расхлебать!
Не минует эта чаша.
Не спасти Отчизну-мать.

Энтропия, ускоренье,
разложение основ,
не движенье, а гниенье,
обнажение мослов.

Власть советская, родная,
родненькая, потерпи!
Что ж ты мечешься больная?
Что ж ты знамя теребишь?

И от вражеских наветов
опадает ветхий грим.
Ты проходишь, Власть Советов,
словно с белых яблонь дым.

И с улыбкою дурацкой
ты лежишь в параличе
в форме штатской, в позе блядской,
зря простив убийц-врачей.

Ты застыла в Мавзолее
ни жива и ни мертва,
сел едва ли не на шею
бундесверовский У-2!

Все проходит. Все, конечно.
Дым зловещий. Волчий ров.
Как Черненко, быстротечно
и нелепо, как Хрущев,

как Ильич, бесплодно, Лева,
и, как Крупская, страшно!
Распадаются основы.
Расползается говно.

17

Было ж время — процветала
в мире наша сторона!
В Красном Уголке, бывало,
люди толпились дотемна!

Наших деток в средней школе
раздавались голоса.
Жгла сердца своим глаголом
свежей «Правды» полоса.

Нежным светом озарялись
стены древнего Кремля.
Силомером развлекались
тенниски и кителя.

И курортники в пижамах
покупали виноград.
Креп-жоржет носили мамы.
Возрождался Сталинград.

В светлых платьицах с бантами
первоклассницы смешно
на паркетах топотали,
шли нахимовцы в кино.

В плюшевых жакетках тетки.
В теплых бурках управдом.
Сквозь узор листвы нечеткий
в парке девушка с веслом.

Юной свежестью сияла
тетя с гипсовым веслом,
и, как мы, она не знала,
что обречена на слом.

18

Помнишь, в байковой пижамке,
свинка, коклюш, пластилин,
с Агнией Барто лежали
и глотали пертусин?

Как купила мама Леше
— ретрансляция поет —
настоящие калоши,
а в калошах ходит кот!

Почему мы октябрюта?
Потому что потому!
Стриженный под бокс вожатый.
Голубой Артек в Крыму.

И вприпрыжку мчались в школу.
Мел крошили у доски.
И в большом колхозном поле
собирали колоски.

Пили вкусное, парное
с легкой пенкой молоко.
Помнишь? Это все родное.
Грустно так и далеко.

Помнишь, с ранцем за плечами,
со скворечником в руках
в барабаны мы стучали
на линейках и кострах?

Помнишь, в темном кинозале
в первый раз пронзило нас
предвкушение печали
от лучистых этих глаз?

О любви и дружбе диспут.
Хулиганы во дворе.
Дачи, тучи, флаги, избы
в электричке на заре.

Луч на парте золотится.
Звон трамвайный из фрамуг.
И отличницы ресницы
так пушисты, милый друг!

В зале актовом плясали,
помнишь, помнишь тот мотив?
И в аптеке покупали
первый свой презерватив.

На золотом крыльце сидели
 трус, дурак и сволота.
 Выбирать мы не хотели,
 к небу вытянув уста.

Знал бы я, что так бывает.
 Знал бы я — не стал бы я!
 Что стихи не убивают —
 оплетают, как змея!

Что стихи не убивают
 (убивают — не стихи!),
 просто душу вынимают,
 уголь горящий в грудь вставляют,
 отрывают от сохи,

от меча и от орала,
 от фрезы, от кобуры,
 от рейсфедера с лекалом,
 от прилавка, от икры!

— «Лотман, Лотман, Лосев, Лосев,
 де Соссюр и Леви-Строс!»
 Вы хлебнули б, мудочесы,
 полной гибели всерьез!

С шестикрылым серафимом
 всякий рад поговорить!
 С шестирылым керосином
 ты попробуй пошутить.

С шестиствольным карабином,
 с шестижильною шпаной,
 с шерстобитною машиной
 да с шестеркою гнилой!

С шестиярусной казармой,
с вошью, обглодавшей кость,
с голой площадью базарной,
с энтропией в полный рост!

20

Что, Семеныч? Аль не любо?
Любо-дорого, пойми!
Пусть дрожат от страха губы —
разговаривай с людьми!

Ничего во всей природе,
Лев Семеныч, не брани,
никого во всем народе
не кляни и не вини!

Ибо жалость и прощенье,
горе, Лева, и тоска,
ибо пенье и гниенье
тянутся уже века.

Пусть нахрапом и навалом
наседает отчий край,
Лева, подставляй ебало,
а руки не поднимай!

Ты не тронь их, сырых, малых,
не стреляй в них, пощади!
Ты с любовью запоздалой
отогрей их на груди!...

С неба звездочка слетела,
Лев Семеныч, прямо в глаз.
А кому какое дело,
кто останется из нас.

На мосту стоит машина,
а машина без колес.
Лев Семеныч! Будь мужчиной —
не отлынивай от слез!

На мосту стоит тачанка,
все четыре колеса.
Нас спасет не сердце Данко,
а пресветлая слеза!

На мосту стоит автобус
с черно-красной полосой.
Умирают люди, чтобы
мы поплакали с тобой!

На мосту стоим мы, Лева.
Плещет сонная вода.
В небе темно-бирюзовом
загорается звезда.

Так давай же поклянемся —
ни за что и никогда
не свернем, не отвернемся,
улыбнемся навсегда!

В небе темно-бирюзовом
тихий ангел пролетел.
Ты успел запомнить, Лева,
что такое он пропел?

Тихий ангел пролетает,
ангел смерти — Азраил.
К сердцу рану прижимая,
вот мы падаем без сил.

Что, Семеныч, репка? То-то!
Ну а ты как думал, брат?
Как икоту на Федота,
время, брат, не отогнать!

Репка, Лев Семеныч, репка.
Вот куда нас занесло.
Энтропия держит цепко,
липко, гадко, тяжело.

Там, где эллинам сияла
нагота и красота,
без конца и без начала
нам зияет пустота.

Астроном иль гинеколог,
иль работники пера
пусть подскажут, что такое
эта черная дыра.

Тянет, тянет метастазы,
гложет вечности жерлом.
И практически ни разу
не ушел никто живьем.

И практически ни разу...
Разве что один разок
эта чертова зараза
вдруг пустилась наутек!

И повесился Иуда!
И Фома вложил персты!
И текут лучи оттуда
среди вселенской темноты!

Разве ты не видишь, Лева,
снова в пухе тополя!
Друг ты мой, честное слово,
все бессмертно, ты и я!

23

Осененные листвою,
небольшие мы с тобой.
Но спасемся мы с тобою
Красотою, Красотой!

Добротой и Правдой, Лева,
Гефсиманскою слезой,
влагой свадебной багровой,
превращенною водой!

Дьявол в черном коленкоре
рыльце лапками укрыв,
злого гада свет с Фавора
ослепил и оскопил!

Энтропии злые бесы
убегают наутек!
Он воистину воскрес!
Поцелуемся, дружок!

Пусть мы корчим злые рожи,
пусть кичимся злым умом,
на гусиной нашей коже
Агнца светлого клеймо!

И глядит ягненок гневный
с Рафаэлева холста,
и меж черных дыр вселенной
нам сияет Красота!

Мы комочки злого праха,
но душа — теплым-тепла!
Пасха, Лев Семеныч, Пасха!
Лева, расправляй крыла!

Пасха, Пасха, Лев Семеныч!
Светлой новости внемли!
Левушка, тверди каноны
клейкой зелени земли!

В Царстве Божием, о Лева,
в Царствии Грядущем том,
Лева, нехристь бестолковый,
спорим, все мы оживем!

24

Кончен пир. Умолкли хоры.
Лев Семеныч, кочумай.
Опорожнены амфоры.
Весь в окурках спит минтай.

Не допиты в кубках вины.
На главе венки измяты.
Файбисовича картины
Пересмотрены подряд.

Кончив пир, мы поздно встали.
Ехать в Люберцы тебе.
Звезды на небе сияли.
Песня висла на губе.

Как над этим дольным чадом
в горнем выпренном краю,
отвечая смертным взглядам,
звезды чистые поют.

Звезды чистые мерцают
над твоею головой.
Что они нам предвещают?
Я не в курсе, дорогой.

Чистых голосов мерцанье
над сияньем автострад.
До свиданья, до свиданья!
Я ни в чем не виноват!

До свиданья! До свиданья!
Пусть впритык уже пиздец,
но не лжет обетованье,
но не тщетно упованье,
но исполнятся Писанья!
А кто слушал — молодец.



ЛЮБОВЬ, КОМСОМОЛ И ВЕСНА

Д.А.ПРИГОВУ

Отечество, предание, героизм...

С. ГАНДЛЕВСКИЙ

1

Они сидят в обнимку на тачанке.
Она в кожанке старой, в кумачовой
косынке, но привычно протянулись
девические пальцы к кобуре.
А парень в гимнастерке, побелевшей
под солнцем полуденным в жарких схватках.
Буденовка простреленная, чуб
мальчишеский кудрявый, а рука
в бинтах кровавых, но рукой здоровой
он нежно плечи девичьи обнял.

А за спиной у них клубятся тучи,
зарницы блещут. Черные бароны,
бароны Врангель, Унгерн, атаманы
Семенов и Тютюник, и Фаина
Каплан, и бурнаши, и ненавистный
Колчак, Махно, разруха, саботаж.
Клубятся тучи, воют злые ветры.

А перед ними светлая заря —
в коммуны собираются крестьяне,
и золотятся нивы. И Буденный
на вороной кобыле выезжает.
И светятся хрустальные дворцы,
оркестры духовые, и рабочий
командует блестящею машиной
в спецовке белоснежной по эскизам

Лисицкого и Родченко, и Троцкий
краснознаменный, вдохновенный Троцкий
приветствует бойцов. И добивают
последних буржуёв на Амазонке
отряды Коминтерна. Первой
сияет над землей. Аэропланы
и дирижабли в воздухе летают,
летают Циолковского ракеты,
и в магазинах разные колбасы!

Они сидят в обнимку на тачанке,
они в обнимку тесную читают,
читают по складам они «Задачи
Союза молодежи». И заря
встает над обновленную землю.

2

Они сидят в обнимку на скамейке
у вышки парашютной в людном парке.
Девичью грудь обтягивает плотно
футболка со значками ДОБРОЛЕТА
и ДОБРОХИМА и БГТО.
На парне китель белый и фуражка,
и блещут сапоги на жарком солнце,
и вьется чуб кудрявый, и рукою
он нежно плечи девичьи обнял.
А за спиной у них клубятся тучи,
зарницы блещут. Кулаки стреляют
по освещенным окнам сельсовета
и по избе-читальне. Динамит
под каждой шпалой и под каждой домной
таится, и к бикфордову шнуру
уже подносят спичку, озираясь,
вредители в толстовках и пенсне.
И ненавистный Троцкий источает

кровавую слюну. И белофинны.
Клубятся тучи. Воют злые ветры.
А перед ними светлая заря —
в колхозы собираются крестьяне
и золотятся нивы. И Буденный
на вороной кобыле выезжает.
Высотные возносятся дома.
И песни Дунаевского. И с песней
рабочий планы перевыполняет
и получает орден. Балерина
вращается. Фадеев пишет книги.
Все получают ордена. И Сталин
краснознаменный, вдохновенный Сталин
приветствует танкистов. Над планетой
летает Чкалов. Летчики-пилоты
и бомбы-самолеты. Чук и Гек
летят на Марс на помощь Аэлите.
А в магазинах разные колбасы.

Они сидят в обнимку на скамейке,
они в обнимку тесную читают
весь «Краткий курс истории ВКП
(б)». И конспектируют. Заря
встает над обновленную землю.

3

Они сидят в обнимку на ступеньках
студенческого общежитья. В брючках,
на шпильках тонких девушка, а парень
в ковбойке, побелевшей от целинных
ветров; кудрявый, непокорный чуб
ему мешает, и одной рукою
он нежно плечи девичьи обнял.

А за спиной у них клубятся тучи.

Зарницы блещут. Ленинские нормы
партийной жизни нарушают люто

перерожденцы в форме ГПУ.
Стиляги и жеваги выползают
и кока-колой отравить грозятся
парнишек и девчат. За океаном
СЕАТО, СЕНТО, НАТО, АСЕАН,
и Чомбе, Франко, Салазар, и венгры
контрреволюционные, и нео-
нацисты, реваншисты, ку-клукс-клан,
и Сталин ненавистный, и джазисты,
баптисты, и примкнувший к ним Шепилов.

А перед ними светлая заря —
в совхозы собираются крестьяне,
и золотятся нивы, и Буденный
на вороной кобыле в кинофильме.
И светлые, просторные дома
без всяких там излишеств, и играет
оркестр эстрадный Пахмутовой песни.
Рабочий весь в нейлоне и болонье
комбайны собирает для уборки
по всей планете кукурузы доброй.
Бренчит гитара у костра. Никита
Сергеевич Хрущев на Мавзолее
приветствует посланцев всех народов
в году 80-м, в коммунизме.
И денег нету. И взывают ввысь
в туманность Андромеды экипажи.
И в магазинах разные колбасы.

Они сидят в обнимку на ступеньках.
Они в обнимку тесную читают
XXII съезда матерьялы.

И обсуждают горячо. Заря
встает над обновленную землю.

4

Они сидят в обнимку на собрании
отчетном ЖСК. В костюме брючном
кримпленовом она, а он в двубортном
венгерском пиджаке и в водолазке.
Он обнял плечи девичьи. И все же

там, за спиной у них, клубятся тучи,
зарницы блещут. Китаезы лезут
на наш Даманский, сионисты лезут
на наш Египет, и чехословаки
на весь соцлагерь руку занесли.
И янки не желают ни в какую
гоу хоум! И еврей неблагодарный
в ОВИР стремглав несется. Ненавистный
волюнтарист Хрущев ЧК родную
обезоружил. Би-би-си визжит.
И Сахаров войной грозит Отчизне.
Клубятся тучи. Воют злые ветры.

А перед ними светлая заря —
крестьяне собираются освоить
методу безотвальную, бригадный
подряд, и осушаются болота,
и золотятся нивы. И Буденный
на вороной кобыле в снах мальчишек.
С улучшенной планировкой, с лифтом
возводятся дома. Ансамбль играет
мелодью в современных ритмах. С новым
рацпредложением выступил рабочий,
и награжден, и трижды награжден,
четырежды наш Брежнев вдохновенный.
Приветствует он всех и всех целует.

Летят ракеты на Венеру раньше
американцев. И веселый БАМ
планету опоясал, и планета
в цветах встречает светлый Первомай.
А в магазинах разные колбасы.

Они сидят в обнимку на собраниях,
они в обнимку тесную читают
Доклад на съезде XXV или
XXVI. Заря, заря встает
над обновленной Малою землею.

5

Они сидят в обнимку на Арбате.
Она в варенках кооперативных.
Он в фирменных. И в туфлях «Саламандра».
Чуб непокорный. Бритые височки.
Он нежно плечи девичьи обнял.

А за спиной у них клубятся тучи.
Зарницы блещут. Времена застоя
марксизм животворящий извращают,
и бюрократы, взяточники, воры,
и пьяницы, и даже наркоманы,
и мафия, комчванство, долгострой,
и формализм, и узкие места,
и национализма пережитки,
и экстенсивный метод, и другие
явления негативные, и Брежнев,
всем ненавистный, и овощебазы,
и министерства, ведомства и главки!
Клубятся тучи. Воют злые ветры.

А перед ними светлая заря —
крестьяне собираются семейный

подряд внедрять. И золотятся нивы,
Рабочий за компьютер персональный
садится. И повсюду МЖК
растут. Играют смелые рок-группы.
И КСП играет. И Буденный
злым «Огоньком» разоблачен уже.
С телеэкрана Михаил Сергеич,
краснознаменный, вдохновенный, мудрый,
приветствует прорабов перестройки,
и вся планета слушает его
и тоже перестраиваться хочет,
и всюду замечаются подвижки,
и новое мышление растет,
и мышление новое, и дальше,
все дальше, дальше!
Ельцин дерзновенный,
знамена, кока-кола, твердый рубль!
И в магазинах разные колбасы!

Они сидят в обнимку на Арбате.
Они в обнимку тесную читают
«Детей Арбата». Светлая заря
встает над обновленную землю.
И Ленин жив. И сладок поцелуй
девичьих губ. И Ленин жив! И будут
колбасы в магазинах, а в сердцах
любовь и пламень молодости нашей!
И Дмитрий Алексаныч тут как тут!



ХУДОЖНИКУ СЕМЕНУ ФАЙБИСОВИЧУ

В общем-то нам ничего и не надо.
Все нам забава, и все нам отрада.
В общем-то нам ничего и не надо —
только б в пельменной на липком столе
солнце горело, и чистая радость
пела-играла в глазном хрустале,
пела-играла
и запоминала
солнце на липком соседнем столе.
В укусной жижице, в мутной водиче,
в юшке пельменной, в стакане твоём
все отражается, все золотится...
Ах, эти лица... А там, за стеклом,
улица движется, дышит столица.
Ах, эти лица,
ах, эти лица,
кроличьи шапки, петлицы с гербом.

Солнце февральское, злая кассирша,
для фортепиано с оркестром концерт
из репродуктора. Длинный и рыжий
ищет свободного места студент.
Как нерешительно он застывает
с синим подносом и щурит глаза.
Вот его толстая тетка толкает.
Вот он компот на нее проливает.
Солнце сияет. Моцарт играет.
Чистая радость, золотая слеза.
Счастычко наше, коза-дереза.

Грязная бабушка грязною тряпкой
столлик протерла. Давай, допивай.

Ну и смешная у Семушки шапка!
Что прицепился ты? Шапка как шапка.
Шапка хорошая, теплая шапка.
Улица движется, дышит трамвай.
В воздухе блеск от мороза и пара,
иней красивый на урне лежит.
У Гастронома картонная тара.
Женщина на остановке бурчит.
Что-то в лице ее, что-то во взгляде,
в резких морщинах и алой помаде,
в сумке зеленой, в седеющих прядях
жуткое есть. Остановка молчит.
Только одна молодежная пара
давится смехом и солнечным паром.
Левка глазеет. Трамвай дребезжит.

Как все забавно и фотогенично —
зябкий узбек, прыщеватый курсант,
мент в полушубке — вполне симпатичный,
жезл полосатый, румянец клубничный,
белые краги, свисток энергичный.
Славный морозец, товарищ сержант!

Как все забавно и как все типично!
Слишком типично. Почти символично.
Профиль на мемориальной доске
важен. И с профилем аналогичным
мимо старуха бредет астматично
с жирной собакою на поводке.
Как все забавно и обыкновенно!
Всюду Москва приглашает гостей.
Всюду реклама украсила стены:
фильм «Покаянье» и Малая сцена,
рядом фольклорный ансамбль «Берендей»
под управлением С.С.Педерсена...
В общем-то, нам, говоря откровенно,

этого хватит вполне. Постепенно
мы привыкаем к Отчизне своей.

Сколько открытий нам чудных готовит
полдень февральский! Трамвай, например.
Черные кроны и свет светофора.
Девушка с чашкой в окошке конторы.
С ранцем раскрытым скользит пионер
в шапке солдатской, слегка косоглазый.
Из разговора случайная фраза.
Спинка минтая в отделе заказов.
С тортом «Москвичка» морской офицер...

А стройплощадка субботняя дремлет.
Битый кирпич, стекловата, гудрон.
И шлакоблоки. И бледный гандон
рядом с бытовкой. И в мерзлую землю
с осени вбитый заржавленный лом.
Кабель, плакаты... С колоннами дом,
Дом офицеров. Паркета блистанье,
и отдаленные звуки баяна.
Там репетируют танец «Свиданье».
Стенды суровые смотрят со стен.
Буквы белые из пенопласта.
Дядюшка Сэм с сионистом зубастым.
Политбюро со следами замен.

А электрички калининской тамбур
с темной пустою бутылкой в углу,
с теткой и с мастером спорта по самбо,
с солнцем, садящимся в красную мглу
в чистом кружочке, продышанном мною.
Холодно, холодно! Небо родное.
Небо какое-то, Сема, такое
словно бы в сердце зашили иглу,
как алкашу зашивают торпеду,

чтобы всегда она мучила нас,
чтоб в мешанине родимого бреда
видел гармонию глаз-ватерпас,
чтобы от этого бедного света
злился, слезился бы глаз наш алмаз!..

Кухня в Коньково. Уж вечер сгустился.
Свет не зажгли мы, и стынет закат.
Как он у Лены в очках отразился!
В стеклышке каждом — окно и закат.
Мой силуэт с огоньком сигареты.
Небо такого лимонного цвета.
Кто это? Видимо, голуби это
мимо подъемного крана летят...

А на Введенском на кладбище тихо.
Снег на крестах и на звездах лежит.
Тени ложатся. Ворчит сторожика...
А на Казанском вокзале чувиху
дембель стройбатский напрасно кадрит.
Он про Афган заливает ей лихо.
Девка щекастая хмуро молчит.

Запах доносится из туалета.
Рядом цыганки жуют крем-брюле.
Полный мужчина, прилично одетый,
в «Правде» читает о встрече в Кремле.
Как нам привыкнуть к родимой земле?..

Нет нам прощенья. И нет «Поморина».
Видишь, Марлены стоят, Октябрины
плотной толпой у газетной витрины
и о тридцатых читают годах.
Блещут золотыми зубами грузины.
Мама в Калугу везут апельсины.
Чуть ли не добела выгорел флаг

в дальнем Кабуле. И в пьяных слезах
лезет к прилавку щербатый мужчина.

И никуда нам, приятель, не деться.
Обречены мы на вечное детство,
на золотушное вечное детство!
Как обаятельны — мямлит поэт —
все наши глупости, даже злодейства...
Как обаятелен душка-поэт!
Зря только Пушкина выбрал он фоном!
Лучше бы Берию, лучше бы зону,
Брежнева в Хельсинки, вора в законе!
Вот на таком-то вот, лапушка, фоне
мы обаятельны 70 лет!

Бьют шизофреника олигофрены,
врут шизофреники олигофрену —
вот она, формула нашей бесценной
Родины, нашей особенной стати!
Зря ты шевелишь мозгами, приятель,
зря улыбаешься так откровенно!

Слышишь ли, Семушка, кошка несется
прямо из детства, и банки гремят!
Как скипидар под хвостом ее жжется,
как хулиганы вдогонку свистят!
Крик ее, смешанный с пением Отса,
уши мои малодушно хранят!

А толстогубая рожа сержанта,
давшего мне добродушно пинка,
«Критика чистого разума» Канта
в тумбочке бедного Маращука,
и полутемной каптерки тоска,
политзанятий века и века,
толстая жопа жены лейтенанта...

Злоба трусливая бьется в висках...
В общем-то нам ничего и не надо...

Мент белобрысый мой паспорт листает.
Смотрит в глаза, а потом отпускает.
Все по-хорошему. Зла не хватает.
Холодно, холодно. И на земле
в грязном бушлате валяется кто-то.
Пьяный, наверное. Нынче суббота.
Пьяный, конечно. А люди с работы.
Холодно людям в неоновой мгле.
Мертвый ли, пьяный лежит на земле.

У отсидевшего срок свой еврея
шрамик от губ протянулся к скуле.
Тонкая шея,
тонкая шея,
там, под кашне, моя тонкая шея.
Как я родился в таком феврале?
Как же родился я и умудрился,
как я колбаской по Спасской скатился
мертвым ли, пьяным лежать на земле?

Видно, умом не понять нам Отчизну.
Верить в нее и подавно нельзя.
Безукоризненно страшные жизни
лезут в глаза, открывают глаза!
Эй, суходрочка барачная, бризни!
Лейся над цинком гражданская тризна!
Счастычко наше, коза-дереза,
вша-вэпэша да кирза-бирюза,
и ни шиша, ни гроша, ни аза
в зверосовхозе «Заря коммунизма»...

Вот она, жизнь! Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать?

Где-то под Пензой, да хоть и на Темзе,
где бы то ни было — только зачем же?
Здрасте . пожалуйста! Что ж тут терять?

Вот она, вот. Ну и что ж тут такого?
Что так цепляет? Ну вот же, гляди!
Вот полюбуюся же! Снова-здорово!
Наше вам с кисточкой! Честное слово,
черта какого же, хрена . какого
ищем мы, Сема,
да свищем мы, Сема?
Что же обрящем мы, сам посудите?

Что ж мы бессонные зенки таращим
в окна хрущевок, в февральскую муть.
Что же склоняемся мы над лежащим
мертвым ли, пьяным под снегом летящим,
чтобы в глаза роковые взглянуть.
Этак мы, Сема, такое обрящем...
Лучше б укрыться. Лучше б заснуть.
Лучше бы нам с головою укрыться,
лучше бы чаю с вареньем напиться,
лучше бы вовремя, Семушка, смыться...
Ах, эти лица... В трамвае ночном
татуированный дед матерится.
Спит пэтэушник. Горит «Гастроном».
Холодно, холодно. Бродит милиция.

Вот она, жизнь. Так зачем же, зачем же?
Слушай, зачем же, ты можешь сказать,
в цинковой ванночке легкою пемзой
голый пацан, ну подумай, зачем же
все продолжает играть да плескаться?
На солнцепеке
далеко-далеко...
Это прикажете как понимать?

Это ступни погружаются снова
в теплую, теплую, мягкую пыль...
Что же ты шмыгаешь, рева-корова?
Что ж ты об этом забыть позабыл?
Что ж тут такого?
Ни капли такого.
Небыль какая-то, теплая гиль.

Небо и боль обращаются в дворик
в маленькой, солнечной АССР,
в крыш черепицу, в штакетник забора,
в тучный тутовник, невкусный теперь,
в черный тутовник,
зеленый крыжовник,
с марлей от мух растворенную дверь.

Это подброшенный мяч сине-красный
прямо на клумбу соседей упал,
это в китайской пижаме прекрасной
муж тети Таси на нас накричал!

Это сортир деревянный просвечен
солнцем июльским, и мухи жужжат.
Это в беседке фанерной под вечер
шепотом страшным рассказы звучат.
Это для папы рисунки в конверте,
пьяненький дядя Сережа-сосед,
недостижимый до смерти, до смерти,
недостижимый, желанный до смерти
Сашки Хвальковского велосипед!...

Вот она, вот. Никуда тут не деться.
Будешь, как миленький, это любить!
Будешь, как проклятый, в это глядеться,
будешь стараться согреть и согреться,
луч этот бедный поймать, сохранить!

Щелкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь,
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом!
Бестолочь, сволочь, величие это:
Ленин в Разливе,
Гагарин в ракете,
Айзенберг в очереди за вином!

Жалость, и малость, и ненависть эту:
елки скелет во дворе проходном,
к международному дню стенгазету,
памятник павшим с рукою воздетой
утренний луч над помойным ведром,
серый каракуль отцовской папахи,
дядин портрет в бескозырке лихой,
в старой шкатулке бумажки Госстраха
и облигации, ставшие прахом,
чайник вахтерши, туман над рекой.

В общем-то нам ничего и не надо.
В общем-то нам ничего и не надо!
В общем-то нам ничего и не надо —
только бы, Господи, запечатлеть
свет этот мертвенный над автострадой,
куст бузины за оградой детсада,
трех алкашей над речною прохладой,
белый бюстгалтер, губную помаду
и победить таким образом Смерть!

Семушка, шелкова наша бородушка,
Семушка, лысая наша головушка,
солнышко встало, и в комнате солнышко.
Встань-поднимайся. Надо успеть.

К О Н Е Ц

*Стихи
о любви*

1988 г.

Е. Б.

Стихи были, кажется, очень плохие, но Аполлинарий говорил, что для верного о них суждения необходимо было видеть, какое они могут произвести впечатление, если их хорошенько, с чувством прочесть нежной и чувствительной женщине.

ЛЕСКОВ

ОТ АВТОРА

*Так ты и с политикой дружен?
— И с нею.*

А.С.КУШНЕР

В общем так — начинай перестройку с себя.
А меня ты в покое оставь!
Редактируй как хочешь Партийный Устав,
от усердия и страха сопя.
Но, слюну тошнотворную не удержав,
я плевал на тебя, я плевал на Устав,
я плевал на Устав и тебя!

До свиданья, дурак! Без меня говори
о застойных явлениях своих.
«Литгазету» не суй мне под нос, уברי —
дурно пахнет гражданственный стих!
Что бы ты ни сказал — выйдет глупость и ложь,
потому что... Да ты все равно не поймешь!
Потому что ты пахнешь, любезный жених,
пахнешь, фраер, при всех дезодорах своих,
ах, мсье Пьер, ты воняешь и врешь!

Так решай без меня наболевший вопрос —
Враг был Троцкий иль все-таки нет?
Гениален Высоцкий иль все-таки нет?
Обречен ли на гибель колхоз,
Госкомстат, Агропром, комбижир, корнеплод,
опорос, опорос, ВПШ и Минпрос...
Я два пальца сую в искривившийся рот.

Я свищу. А потом меня рвет.
И очистившись, я говорю тебе: Друг!
Уходи ты, уйди от греха!
Ибо грех мой велик, говорю я «рака»,
ибо я не могу возлюбить дурака,
ибо потом разит от лакейских потуг
джентельменами сделаться вдруг!

Оскверный без меня мертвецов в мерзлоте!
Я не буду в обнимку с тобой
над Бухариным плакать в святой простоте
покаянную сладкой слезой!
Ибо потом и жиром прогорклым разит!
Нападай без меня, либерал, на Главлит,
без меня, замполит дорогой!

Белокрылых в зенит запускай голубей!
Миру мир! А душманам — война.
Не стреляй, не стреляй, гуманист, в лебедей!
Только кровью клоповьей разит из щелей
да открыжкой гнилого вина!
И, очистившись, я говорю тебе: На!
Забирай, гражданин, и владей,
лиру скорби гражданской бери, не робей,
мне теперь не по чину она!
Я тебе подыграть не сумею на ней,
потому что не волк я по крови своей,
и не пес я по крови своей.

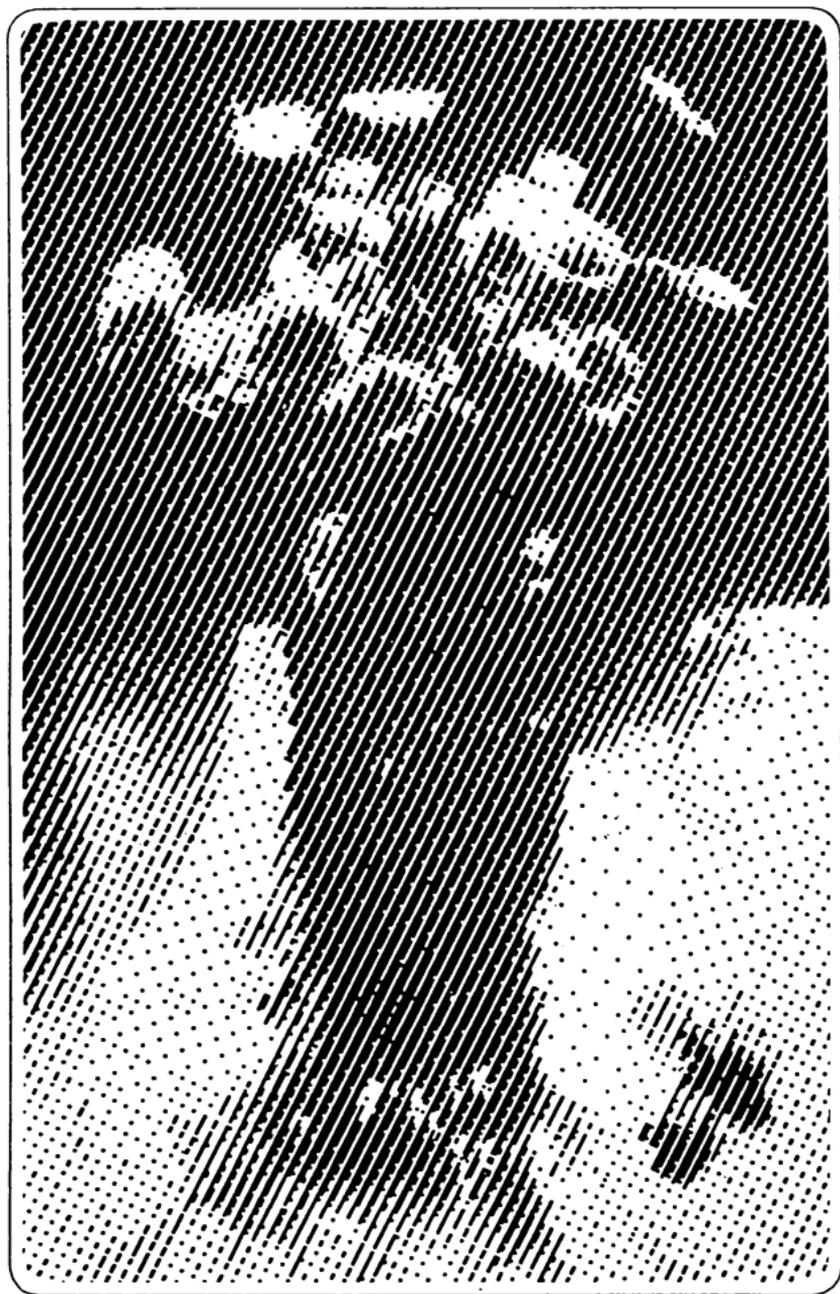
Ах, прораб мой, барачного духа прораб,
твой черед, выходи на парад!
Посчитаться с хозяином мертвым пора!
Ну же, с богом, товарищ! Ура!
Твой черед, балаболка, твои времена,
не задерживай добрых людей!
Но меня ты в покое оставь, дуралей,

потому что не пес я по крови своей,
и хозяина нет у меня!
Так что низкий поклон, Перестройка, тебе
и тебе, дорогой КГБ!
Если Кушнер с политикой дружен теперь,
я могу возвратиться к себе!

И некрасовский скорбный анапест менять
на набоковский тянет меня!
Ничего, ничего, что я беден и мал,
что в крови моей тяжкий и рыхлый крахмал,
что ржавеет в мозгу неподъемный металл,
что в душе пустота и фигня,
все равно, все равно — я плыву в тишине
по лазурной волне на легчайшем челне,
все равно я и пан, и пропал!
А что Ленин твой мразь — я уже написал,
и теперь я свободен вполне!
И когда бы ты знал, как же весело мне
и каким беззаботным я стал!

И теперь, наконец, я могу выбирать:
можно «Из Пиндемонти» с улыбкой шептать,
можно Делии звучные гимны слагать,
перед Скинией Божьей плясать!
С Цинциннатом в тряпичные куклы играть,
цвет любимых волос и небес описать,
эту клейкую зелень к губам прижимать,
под Ижоры легко подъезжать!

Так что дудки, товарищи! Как бы не так!
В ваши стойла меня не загонишь никак!
Я не ваш, я ушел. Я не пойман, не вор!
До свиданья, до встречи, дурак!



ЭКЛОГА

Мой друг, мой нежный друг, в пунцовом георгине
могучий шмель гудит, зарывшись с головой.
Но крупный дождь грибной так легок на помине,
так сладок для ботвы, для кожи золотой.

Уж огурцы в цвету, мой нежный друг. Взгляни же
и, ангел мой, пойми — нам некуда идти:
Прошедший дождь проник сквозь шиферную крышу
и томик намочил Эжена де Кюсти.

Чей перевод, скажи? Гандлевского, наверно.
Анакреонтов лад, горацианский строй.
И огурцы в цвету, и звон цикады мерный,
кузнечика точней, и лиры золотой.

И солнце сквозь листву, и шмель неторопливый,
и фавна тихий смех, и сонных кур возня.
Сюда, мой друг, сюда, мой ангел нерадивый,
приляг, мой нежный друг, и не тревожь меня.

О, налепи на нос листок светло-зеленый,
о, закрывай глаза и слушай в полусне
то пение цикад, то звон цевницы сонной,
то бормотанье волн, то пенье в стороне

аркадских пастухов — из томика, из плавной
медовой глубины, летейской тишины,
и тихий смех в кустах полуденного фавна,
и лепсы огурцов, и шепот бузины.

Сюда, сюда, мой друг! Ты знаешь край, где никнет
клубника в чернозем на радость муравьям,
где сохнет на столе подмоченная книга
Эжена де Кюсти, и за забором там

соседа-фавна смех, и рожки, и гармошка,
и Хлои поясок, дриады локоток,
и некуда идти. И за грядой картошки
заросший ручеек, расшатанный мосток.

II

БАЛЛАДА О ДЕВЕ БЕЛОГО ПЛЕСА

Дембеля возвращались в родную страну,
проиграв за кордоном войну.
Пили водку в купе, лишь ефрейтор один
отдавал предпочтенье вину.

Лишь ефрейтор один был застенчив и тих,
и носил он кликуху «Жених»,
потому что невеста его заждалась
где-то там, на просторах родных.

Но в хмельном кураже порешили они
растянуть путешествия дни
и по Волге-реке прокатить налегке.
Ах, ефрейтор, пусть едут одни.

Ах, ефрейтор, пускай они едут себе.
Ни к чему эти шутки тебе.
Ты от пули ушел, и от мины ушел.
Выходи, дурачок, из купе.

Ведь соседская Оля, невеста твоя,
месяц ходит сама не своя,
мать-старушка не спит, на дорогу глядит...
Мчится поезд в родные края!

Но с улыбкой дурною и песней блатной
в развеселой компании хмельной
проезжает ефрейтор родные места,
продолжает в каюте запой.

Вниз по Волге плывут, очумев от вина,
даже с берега песня слышна.

Пассажиры боятся им слово сказать.

Так и хлещут с утра до темна.

Ах, ефрейтор, ефрейтор, куда ж ты попал?

Мыться-бриться уже перестал.

На глазах пассажиров, за борт наклонясь,
ты рязанскою водкой блевал...

На четвертые сутки, к полудню проспаясь,
головою похмельной винясь,

он на палубу вышел в сиянье и зной.

Блики красные плыли у глаз.

И у борта застыв, он в себя приходил,
за водою блестящей следил.

И не сразу заметил он остров вдали.

Лишь тогда, когда ближе подплыл.

И тогда-то Ее он увидел, бедняк,

и не сразу он понял, дурак,

а сперва улыбнулся похабной губой,

а потом уже вскрикнул и — Боже ты мой! —
вдоль по борту пошел кое-как

за виденьем, представшим ему одному,
почему-то ему одному,

за слепящим виденьем, за тихим лучом,
как лунатик, пришел на корму.

Дева белого плеса и тихой воды,

золотой красоты-наготы

на белейшем коне в тишине, в полусне...

Все, ефрейтор злосчастный. Кранты.

Все, ефрейтор, пропал, никуда не уйдешь.
Лучше б было нарваться на нож,
на душманскую пулю, на мину в пути.
Все, ефрейтор. Теперь не уйдешь...

И когда растворилось виденье вдали,
кореша-дембеля подошли,
чтоб в каюту позвать, чтоб по новой начать.
Но узнать Жениха не смогли.

Бледен лик его был, и блуждал его взор,
и молот несусветный он вздор.
Деву белого плеса он клялся найти,
корешей он не видел в упор.

И на первой же пристани бедный Жених
вышел на берег, грустен и тих,
и расспрашивать стал он про Деву свою,
русокосую, голую Деву свою,
Деву плеса в лучах золотых.

Ничего не добившись, он лодку нанял,
взад-вперед по реке он гонял.
И однажды он вроде бы видел ее.
Но вблизи он ее не признал.

И вернулся он в город задрипанный тот,
и ругался он — мать ее в рот,
и билет он купил, и уехать решил.
Но ушел без него пароход.

После в чайной он пил, и в шашлычной он пил,
в станционном буфете бузил,
и с ментами подрался, и там, в КПЗ,
все о Деве своей говорил.

Говорил он Деве смертельной своей,
голосил он и плакал о ней,
о янтарных глазах, золотых волосах...
И блатные ему отвечали в сердцах:
«Мало ль, паря, на свете блядей?»

Но белугой ревел он, и волком он выл,
и об стенку башкой колотил.
И поэтому вскорости был у врачей,
и в психушку потом угодил.

И когда для порядка вкололи ему,
чтоб не очень буянил, сульфю,
и скрутила его многорукая боль,
и поплыл он в багровую тьму,

среди тьмы этой гиблой, в тумане густом
он увидел вдали за бортом,
он за бортом вдали различил-угадал
этот остров в сиянье златом.

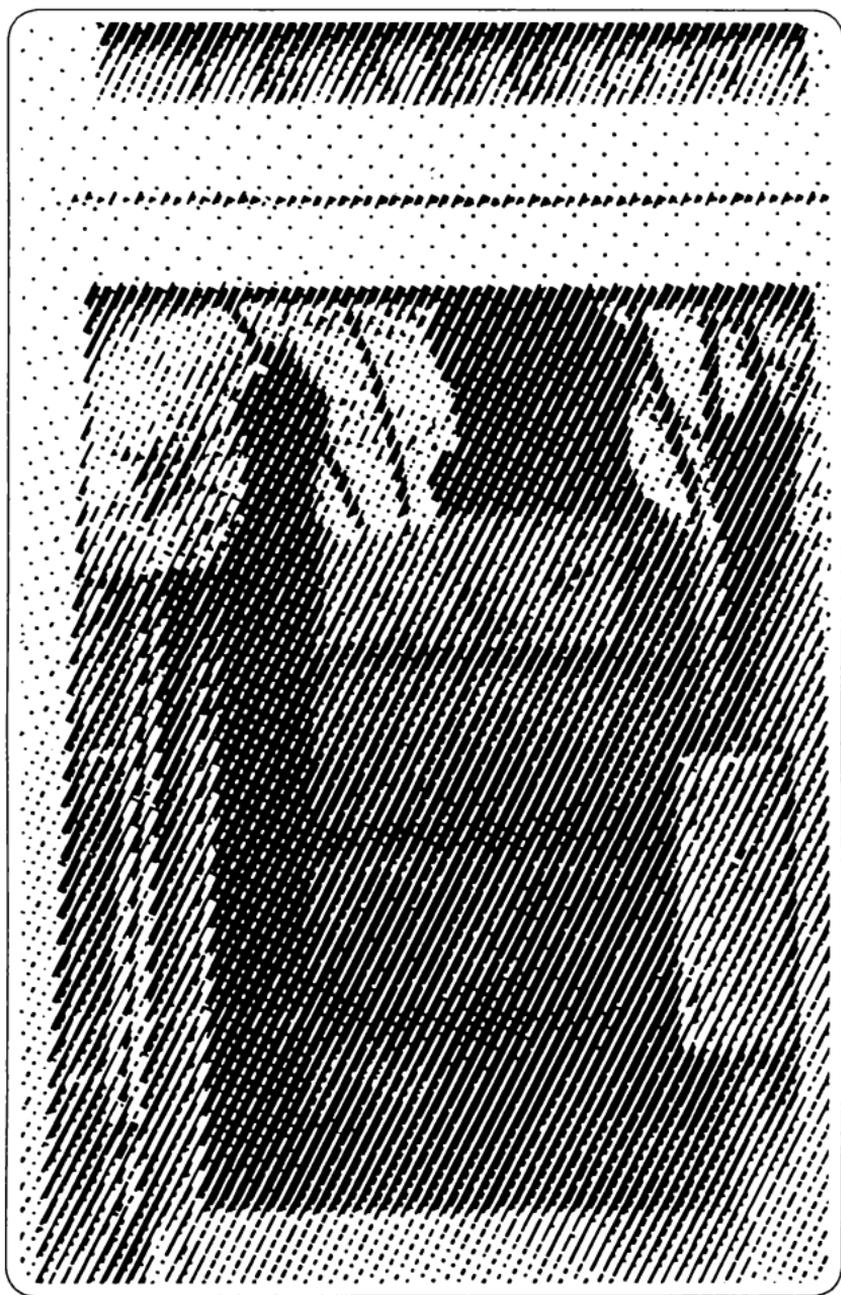
И к нему подплывая в счастливых слезах
на безумных, горящих глазах
и с улыбкой блаженства и светлой любви
на бескровных от боли губах,

озаряясь все больше, почти ослеплен
блеском теплых и ласковых волн
и сиянием белых прибрежных песков,
свою Деву разглядывал он.

И она улыбалась ему и звала,
за собою манила, вела
навсегда, навсегда, никуда, без следа,
никогда, мой любимый, уже никогда...
И вода под копытом светла.

Ну садись же, садись, дурачок, на коня,
обними же, не бойся меня,
мы поедem с тобой навсегда без следа
никуда, дурачок, как песок, как вода
в сонном мареве вечного дня...

Дева белого плеса, слепящих песков,
пощади нас, прости дураков,
золотая краса, золотые глаза,
белый конь, а над ним и под ним бирюза.
Лишь следы на песке от подков.



III

РОМАНСЫ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА

1

О доблести, о подвигах, о славе
КПСС на горестной земле,
о Лигачеве иль об Окуджаве,
о тополе, лепечущем во мгле.
О тополе в окне моем, о теле,
тепле твоём, о тополе в окне,
о том, что мы едва не с колыбели
и в гроб сходя, и непонятно мне.
О чем еще? О бурных днях Афгана,
о Шиллере, о Фильке, о любви.
О тополе, о шутках Петросяна,
о люберах, о Спасе-на-Крови.
О тополе, о тополе, о боли,
о валидоле, о юдоли слез,
о перебоях с сахаром, о соли
земной, о полной гибели всерьез.
О чем еще? О Левке Рубинштейне,
о Нэнси Рейган, о чужих морях,
о юности, о выпитом портвейне,
да, о портвейне, о пивных ларьках,
исчезнувших, как исчезает память,
как все, клубясь, идет в небытие.
О тополе. О БАМе. О Программе
КПСС. О тополе в окне.
О тополе, о тополе, о синем
вечернем тополе в оставленном окне,
в забытой комнате, в распахнутых гардинах.
О времени. И непонятно мне.

Ух, какая зима! Как на Гитлера с Наполеоном
наседает она на невинного, в общем, меня.
Индевеют усы. Не спасают кашне и кальсоны.
Только ты, только ты! Поцелуй твой так полон огня!

Поцелуй-обними! Только долгим и тщательным треньем
мы добудем тепло. Еще раз поцелуй горячей.
Все теплей и теплее. Колготки, носки и колени.
Жар гриппозный и слезы. Мимозы на кухне твоей.

Чаю мне испитого! Не падо заваривать — лишь бы
кипяток да варенье. И лишь бы сидеть за твоей
чистой-чистой клеенкой. И слышать, как где-то в Париже
говорит комментатор о нуждах французских детей...

Ух, какая зима! Просто Гитлер какой-то! В такую
ночку темную ехать и ехать в Коньково к тебе.
На морозном стекле я твой вензель чертить не рискую —
пассажиры меня не поймут, дорогая Е.Б.

IV

БАЛЛАДА О СОЛНЕЧНОМ ЛИВНЕ

В годы застоя, в годы застоя
я целовался с Ахвердовой Зоей.

Мы целовались под одеялом.
Зоя ботанику преподавала

там, за Можайском, в совхозе «Обильном».
Я приезжал на автобусе пыльном

или в попутке случайной. Садилось
солнце за ельник. Окошко светилось.

Комната в здании школы с отдельным
входом, и трубы совхозной котельной

в синем окне. И на стенке чеканка
с витязем в шкуре тигровой. Смуглянкой

Зоя была, и когда целовала,
что-то всегда про себя бормотала.

Сын ее в синей матроске на фото
мне улыбался в обнимку с уродом

плюшевым. Звали сыночка Борисом.
Муж ее, Русик, был в армию призван

маршалом Гречко... Мое ты сердечко!
Как ты стояла на низком крылечке,

в дали вечерние жадно глядела
в сторону клуба. Лишь на две недели

я задержался. Ах, Зоинька, Зоя,
где они, Господи, годы застоя?

Где ты? Ночную порою собаки
лай затевали. Ругались со вкусом

механизаторы вечером теплым,
глядя в твои освещенные стекла.

Мы целовались. И ты засыпала
в норке под ватным своим одеялом.

Мы целовались. Об этом проведая,
бил меня, Господи, Русик Ахвердов!

Бил в умывалке и бил в коридоре
с чистой слезою в пылающем взоре,

бил меня в тихой весенней общаге.
В окнах открытых небесная влага

шумно в листву упала и пела.
Солнце и ливень, и все пролетело!

Мы оглянуться еще не успели.
Влага небесная пела и пела!

Солнце, и ливень, и мокрые кроны,
клены да липы в окне растворенном!

Юность, ах, Боже мой, что же ты, Зоя?
Годы застоя, ах, годы застоя,

влага небесная, дембельский май.
Русик, прости меня, Русик, прощай.

РОМАНСЫ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА

3

Под пение сестер Лисициан
на волнах «Маяка» мы закрываем
дверь в комнату твою и приступаем
под пение сестер Лисициан.

Соседи за стеною, а диван
скрипит, как черт, скрипит, как угорелый.
Мы тыкались друг в дружку неумело
Под пение сестер Лисициан.

9-й «А». И я от счастья пьян,
хоть ничего у нас не получилось,
а ты боялась так и торопилась
под пение сестер Лисициан.

Когда я уйду, сосед-болван
выходит в коридор и наблюдает.
Рука никак в рукав не попадает
под пение сестер Лисициан.

Лифт проехал за стенкою где-то.
В синих сумерках белая кожа.
Размножаться — плохая примета.
Я в тебя никогда... Ну так что же?

Ничего же практически нету —
ни любви, ни смысла, ни страха.
Только отсвет на синем паркете
букв неоновых Универмага.

Вот и стали мы на год взрослее.
Мне за 30. Тебе и подавно.
В синих сумерках кожа белеет.
Не зажечь нам торшер неисправный.

В синих сумерках — белая кожа
в тех местах, что от солнышка скрыты,
и едва различим и тревожен
шрам от детского аппендицита.

И, конечно же, главное, сердцем
не стареть... Но печальные груди,
но усталая шея... Ни веры,
ни любви, наверно, не будет.

Только крестик нательный, все время
задевавший твой рот приоткрытый,
мне под мышку забился... Нигде мы
больше вместе не будем. Размыты

наши лица. В упор я не вижу.
Ты замерзла, наверно. Укройся.
Едет лифт. Он все ближе и ближе.
Нет, никто не придет, ты не бойся.

Дай зажгу я настольную лампу.
Видишь, вышли из сумрака-мрака
стул с одеждой твоею, эстампы
на стене и портрет Пастернака.

И окно стало черным почти что
и зеркальным, и в нем отразилась
обстановка чужая. Смотри же,
кожа белая озолотилась.

Третий раз мы с тобою. Едва ли
будет пятый. Случайные связи.
Только СПИДа нам и не хватало.
Я шучу. Ты сегодня прекрасна.

Ты всегда хороша несравненно.
Ну и ладно, дружочек. Пора нам.
Через час возвращается Гена.
Он теперь возвращается рано.

Ничего же практически нету.
Только нежность на цыпочках ходит.
Ни ответа себе, ни привета,
ничего-то она не находит.

VI

БАЛЛАДА ОБ АНДРЮШЕ ПЕТРОВЕ

В поселке под Нарофоминском
сирень у барака цвела.
Жена инженера-путейца
сыночка ему родила.

Шли годы. У входа в правленьё
менялись портреты вождей.
На пятый этаж переехал
путеец с семьёю своею.

И мама сидела с Андрюшей,
читала ему «Спартака»,
на «Синюю птицу» во МХАТе
в столицу возила сына.

И плакала тихо на кухне,
когда он в МАИ не прошел,
когда в бескозырке балтийской
домой он весною пришел.

И в пединститут поступил он,
как девушка, скромн и чист,
Андрюша Петров синеглазый,
романтик и волейболист.

Любил Паустовского очень,
и Ленина тоже любил,
и на семиструнной гитаре
играл, и почти не курил.

На первой картошке с Наташей
Угловой он начал дружить,
в общаге и в агитбригаде,
на лекциях. Так бы и жить

им вместе — ходить по театрам
и петь Окуджаву. Увы!
Судьба обещала им счастье
и долгие годы любви.

Но в той же общаге московской
в конце коридора жила
Марина с четвертого курса,
курила она и пила.

Курила, пила, и однажды,
поспорив с грузином одним,
в чем мать родила по общаге
прошла она, пьяная в дым.

Бесстыдно вихляла ногами,
смеялась покрашенным ртом,
и космы на плечи спадали,
и все замирали кругом...

Ее выгонять собирались,
но как-то потом утряслось.
И как-то в компании веселой
им встретиться всем довелось.

Андрюша играл на гитаре,
все пели и пили вино,
и, свет потушив, танцевали,
открыв для прохлады окно.

Андрюша! Зачем ты напился,
впервые напился вина!
Наташа ушла, не прощаясь,
в слезах уходила она.

И вот ты проснулся. Окурки,
бутылки, трещит голова...
А рядом, на смятой постели,
Марина, прикрыта едва...

Весь день тебя, бедный, тошнило,
и образ Наташи вставал,
глядел с укоризной печальной,
мелодией чистой звучал.

И все утряслось бы. Но вскоре
Андрюша заметил — увы —
последствия связи случайной,
плоды беззаконной любви.

И ладно бы страшное что-то,
а то ведь — смешно говорить!
Но мама, но Синяя птица!
Ну как после этого жить.

Ведь в ЗАГСе лежит заявленье,
сирень у барака цветет,
и в вальсе кружится Наташа,
и медленно смерть настает...

И с плачем безгласное тело
Андрюшино мы понесли.
Два дня и две ночи висел он,
пока его в петле нашли.

И плакала мама на кухне,
посуду убрав со стола.
И в академический отпуск
Наташа Углова ушла.

Шли годы. Портреты сменились.
Забыт Паустовский почти.
Таких синеглазых студентов
теперь нам уже не найти.

Наташу недавно я встретил,
инспектор она ГОРОНО.
Вот старая сказка, которой
быть юной всегда суждено.

VII

РОМАНСЫ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА

5

Мужским половым органом у птиц является бобовидный отросток.

ЗООЛОГИЯ

...ведь даже столь желанные всем любовные утехы есть всего лишь трение двух слизистых оболочек.

МАРК АВРЕЛИЙ

Ай-я-яй, шелковистая шерстка,
золотая да синяя высь!..
Соловей с бобовидным отростком
над смущенною розой навис.

Над зардевшейся розой нависши
с бобовидным отростком своим,
голос чистый, все выше и выше —
Дорогая, давай улетим!

Дорогая моя, улетаю!
Небеса, погляди в небеса,
легкий образ белейшего рая,
ризы, крылья, глаза, волоса!

Дорогая моя ах, как жалко,
ах как горько, какие шипы.

Амор, Амор, Амор, аморалка,
блеск слюны у припухшей губы.

И молочных желез колыханье,
тазобедренный нежный овал,
песнопенье мое, ликование,
тридевятый лучащийся вал!

Марк Аврелий, ты что, Марк Аврелий?
Сам ты слизистый, бедный дурак!
Это трели и свист загорелый,
это рая легчайшего знак,

это блеск распустившейся ветки
и бессмертья, быть может, залог,
скрип расшатанной дачной кушетки,
это Тютчев, и Пушкин, и Блок!

Это скрежет всей мебели дачной,
это все, это стон, это трах,
это белый бюстгальтер прозрачный
на сирени висит впопыхах!

Это хрип, это трах, трепыханье
синевы да сирени дурной,
и сквозь веки, сквозь слезы блистанье,
преломление, и между ног...

Это Пушкин — и Пригов почти что!
Айзенберг это — как ни крути!
И все выше, все выше, все чище —
Дорогая, давай улетим!

И мохнатое, влажное солнце
Сквозь листву протянуло лучи.
Загорелое пение льется.
Соловьиный отросток торчит.

VIII

ЭЛЕОНОРА

Ходить строем в ногу в казарменном помещении, за исключением нижнего этажа, воспрещается.

Устав внутренней службы

1

Вот говорят, что добавляют бром в солдатский чай. Не знаю, дорогая. Не знаю, сомневаюсь. Потным лбом казенную подушку увлажняя, я, засыпая, думал об одном.

2

Мне было 20 лет. Среди салаг Я был всех старше — кроме украинца рябого по фамилии Хрущак. Под одеялом сытные гостинцы он ночью тайно жрал. Он был дурак.

3

Он был женат. И как-то старики хохочущие у него отняли письмо жены. И, выпучив зрачки, он молча слушал. А они читали. И не забыть мне, Лена, ни строки.

4

И не забыть мне рев казармы всей,
когда дошли до места, где Галина
в истоме нежной, в простоте своей
писала, что не нужен ей мужчина
другой, и продолжала без затей

5

и вспоминала, как они долблись
(да, так и написала!) в поле где-то.
И не забыть мне, Лена, этих лиц.
От брата Жоры пламенным приветом
письмо кончалось. Длинный, словно глист,

6

ефрейтор Нинкин хлопнул по спине
взопревшего немого адресата —
«Ну ты даешь, земля!» Страшно мне
припоминать смешок придурковатый,
которым отвечал Хрущак. К мотне
тянулись руки. Алый свет заката
лежал на верхних койках и стене.

7

Закат, закат. Когда с дежурства шли,
между казарм нам озеро сияло.
То в голубой, то в розовой пыли
стучали сапоги. И подступало,
кадык сжимало. Звало издали.

8

И на разводе духовой оркестр
трубил и бухал, слезы выжимая,

«Прощание славянки», и окрест
лежала степь, техзону окружая,
и не забыть мне, Лена, этих мест

9

киргиз-кайсацких. Дни за днями шли.
Хрущак ночами ел печенье с салом.
На гауптвахту Масича вели.
И озеро манило и сияло.
Кадык сжимало. Звало издали.

10

Душа ли? Гениталии? Как знать.
Но, плавясь на плацу после обеда
в противогазе мокром, я слагать
сонеты начал, где прохладной Ледой
и Лорелеей злоупотреблять

11

вовсю пустился. И что было сил
я воспевал грудастую студентку
МОПИ имени Крупской. Я любил
ее, должно быть. Белые коленки
я почему-то с амфорой сравнил.

12

Мне было 20 лет. Засохший пот
корой белел под мышками. Кошмаром
была заправка коек. Целый год
в каптерке мучил бедную гитару
после отбоя Дев-обормот.

13

А Ваня Шпак из отпуска привез
японский календарик. Прикрывая
рукою треугольничек волос,
на берегу сияющем, нагая,
смеясь, стояла девушка. Гендос

14

Харчевников потом ее хотел
у Шпака обменять на скорпиона
в смоле прозрачной, только не успел —
ее отнял сам капитан Миронов.
И скорпиона тоже... Сотня тел

15

мужающих храпела в липкой тьме
после отбоя. Под мою койкой
разбавленный одеколон «Кармен»
деды втихую пили. За попойкой
повздорили, и, если бы ремень

16

не вырвали у Строева, Бог весть
чем кончилось бы... Знаешь, мой дружок,
как спать хотелось, как хотелось есть,
как сладкого хотелось — хоть кусочек!
Но более всего хотелось влезть

17

на теток, развалившихся внизу
на пляже офицерском, приспустивших

бретельки. Запыленную кирзу
мы волокли лениво — я и Лифшиц,
очкастые, смешные. Бирюзу

18

волны балхашской вспоминаю я
и ныне с легким отвращением. С кайфом
мы шли к майору Тюрину. Семья
к нему приехать собиралась. Кафель
мы в ванной наклеили за два дня.

19

И вволю накупались, и, куря,
на лоджии мы навалялись вволю.
Но как мне жалко, Лена, что дурак
я был, что не записывал, что Коля
Воронин на дежурстве до утра

20

напрасно говорил мне о своей
любви, о полустанке на Урале,
об отчине, о лихости друзей,
которые по пьянке раз угнали
машину с пивом. Кроме Лорелей

21

с Линорами и кроме Эвридик,
все музе худосочной было дико.
А в окнах аппаратной солнца лик
уже вставал над сопкой... Вроде, Викой
звалась его невеста. Выпускник

22

училища десантного, сосед,
ее увел. Дружки побить пытались
его, но сами огребли. Мопед
еще у Коли был. Они катались
на нем. Все бабы бляди. Счастья нет.

23

13 лет уже, дружок, прошло,
но все еще кадык сжимают сладко
картинки эти. Ах, как солнце жгло,
как подоконник накалился гладкий,
и как мы навалились тяжело,

24

всей ротой мы на окна налегли,
когда между казарм на плац вступила
Элеонора. Чуть не до земли
оранжевая юбка доходила,
лишь очертанья ног мы зреть могли.

25

Под импортною кофточкою грудь
высокая так колыхалась ладно,
и бедра колыхались, идохнуть
не смели мы, в белье казенном жадно
уоставься вниз. И продолжала путь

26

она свой триумфальный. И поля
широкополой шляпы прикрывали

ее лицо, но алых губ края
полуулыбкой вверх приподнимала
она. И черных локонов струя

27

сияла, и огромные очки
зеркальные сияли, и под мышкой
ракетка, но при этом каблук
высокие, и задницы излишек
осанка испугала. Как легки

28

ее одежды были, яркие как,
как сердце сжалось... Зря смеешься, Лена!
Мне было 20 лет. Я был дурак.
Мне было плохо. Стоя на коленях,
полночи как-то я и Марушак

29

отскабливали лезвиями пол
линолеумный в коридоре длинном,
ругаясь меж собою. Но пришел...
забыл его фамилию... скотина
такая, сука... то ли Фрол... Нет, Прол...

30

Проленко, что ли?.. Прапорщик, козел,
забраковал работу, и по новой
мы начали. Светло-зеленый пол,
дневного света лампы и пунцовый
насупившийся Марушак. Пришел

31

потом Миронов, и, увидев нас,
он наорал на Прола и отправил
меня на АТС, Серегу в ЛАЗ.
Стажерами мы были, и по праву
припахивали нас... А как-то раз

32

Миронов у дедов отнял вино,
и, выстроив всю роту, в таз вонючий
он вылил пять бутылок. «Ни одной
себе не взял, паскуда, потрох сучий!» —
шептал Савельев за моей спиной.

33

13 лет прошло. Не знаю я,
действительно ль она Элеонорой
звалась, не знаю, но, душа моя,
талантлив был солдатик тот, который
так окрестил ее, слюну лия.

34

Она была приехавшей женой
майора Тюрина. Я представлял порочно
как отражает кафель голубой,
налепленный рукой моей, барочный
Элеонорин бюст и зад тугой...

35

Ах, Леночка, я помню кинозал,
надышанный, пропахший нашим потом.

Мы собирались, если не аврал
и не ЧП, всей частью по субботам
и воскресеньям. И сперва читал

36

нам лекцию полковник Пирогов
про Чили и Китай, про укрепленье
готовности, про происки врагов,
про XXV съезд, про отношенья
неуставные. Рядовой Дроздов

37

однажды был на сцену приглашен,
и Пирогов с иронией игривой
зачитывал письмо его. А он
стоял потупясь. «Вот как некрасиво,
как стыдно!» — Пирогов был возмущен

38

тем, что Дроздов про пьянку написал
и про спанье на боевом дежурстве.
И зал был возмущен, негодовал —
«Салага, а туда же!» Я не в курсе,
Ленуля, все ли письма он читал

39

иль выборочно. Думаю, не все.
А все-таки стихи о Персефоне,
небось, читал, о пресвятой красе
перстов и персей, с коими резонно
был мной аллитерирован Персей.

40

И наконец он уходил. И свет
гасили в зале, и экран светился.
И помню я через 13 лет,
как зал то умолкал, то веселился
громоподобно, Лена. Помню бред

41

какой-то про танцовщицу, цветной
арабский, что ли, фильм. Она из бедных
была, но слишком хороша собой,
и все тесней кольцо соблазнов вредных
сжималось. Но уже мелькнул герой,

42

которому избавить суждено
ее от домогательств богатеев.
В гостинице она пила вино
и танцевала с негодяем, млея.
Уже он влек в альков бедняжку, но...

43

«На выход, рота связи!» — громкий крик
раздался, и, ругаясь, пробирались
мы к выходу, и лишь один старик
и двое черпаков сидеть остались.
За это их заставили одних

44

откапывать какой-то кабель... Так
и не узнал я, как же все сложилось

у той танцорки. Глупый Марушак
потом в курилке забавлял служивых,
кривляясь и вихляя задом, как

45

арабская танцовщица... Копать
траншею было трудно. Каменистый
там грунт, и очень жарко. Ах, как спать
хотелось в этом мареве, как чисто
вода блестела в двух шагах. Шагать

46

в казарму приходилось, потому
что только с офицером разрешалось
купаться. Но гурьбой в ночную тьму
деды в трусах сбегали. Возвращались
веселые и мокрые. «Тимур, —

47

шептал Дроздов, мешая спать, — Давай
купнемся!», соблазняя тем, что дрыхнул
дежурный, а на тумбочке Мамай
из нашего призыва. «Ну-ка спрыгнул
сюда, боец! А ну, давай, давай!» —

48

ефрейтор Нинкин сетку пнул ногой
так, что Дроздова вскинуло. «Купаться,
салаги, захотели? Ну борзой
народ пошел! Ну вы даете, братцы!
Ну завтра покупаемся...» Какой

я видел сон в ту ночь! Чертог сиял.
Шампанское прохладною струею
взмывало вверх и падало в хрусталь,
в раскрытых окнах темно-голубое
мерцало небо звездами. Играл
оркестр цыганский песню Лорелеи.
И Леда шла, коленками белея,
по брошенным мехам и по коврам
персидским. Перси сладостные, млея,
под легкою туникою и срам
темнеющий я разглядел, и лепет
влюбленный услышал, и тайный трепет
девичьей плоти ощутил. Сиял
чертог, и конфетти, гирлянды, блески,
подвязки, полумаски и сережки,
и декольте, и пенистый бокал,
как в оперетте Кальмана! И пары
кружились, и гавайские гитары
нам пели, и хохляцкие цимбалы,
и вот в венке Галинка подошла,
сказала, что не нужен ей мужчина
другой, что краше хлопца не знайшла.
Брат Жора в сапогах и свитке синей
плясал гопак, веселый казачина,
с Марущаком. И сена аромат
от Гали исходил, босые ножки
притопывали, розовый мускат
мы пили с ней, и деревянной ложкой
вареники мы ели. Через сад
на сеновал мы пробежали с Галей.
Танцовщицы арабские плясали
и извивались будто змеи, счесть
алмазов, и рубинов, и сапфиров
мы не могли, и лейтенант Шафиров

в чалме зеленой предложил присесть,
отведать винограда и шербета,
и соловей стонал над розой где-то,
рахат-лукум, халву и пастилу,
сгущенку и портвейн «Букет Прикумья»
вкушали мы с мороженым из ГУМа,
и нам служил полунагой зулус
с блестящим ятаганом, Зульфия
ко мне припала телом благовонным,
сплетались руки, страсти не тая,
и теплый ветер пробежал по кронам
под звон зурны, и легкая чадра
спадала, и легчайшие шальвары
спускались, и разматывалось сари,
японка улыбалась и звала,
прикрыв рукою треугольник темный,
и море набегало на песок
сияющего берега, и огромный
янтарный скорпион лежал у ног,
магические чары расточая...
Какие-то арабы, самураи
верхом промчались... Леда проплыла
в одежде стройотрядовской, туда же
промчался лебедь... Тихо подошла
отрядная вожатая Наташа
и, показав мне глупости, ушла
за КПП... И загорали жены
командного состава без всего...
Но тут раздались тягостные стоны —
как бурлаки на Волге, бечевою
шли старики, влача в лазури сонной
трирему! И на палубе злаченной
в толпе рабынь с пантерой ручной
плыла она в сверкающей короне
на черных волосах! Над головой
два голубя порхали. И в поклоне

все замерли. И в звонкой тишине
с улыбкой на губах бесстыдно-алых
Элеонора шла зеркальным залом!
Шла медленно. И шла она ко мне!
И черные ажурные чулки,
и тяжкие запястья, и бюстгальтер
кровоаво-золотой, и каблуки
высокие! Гонконговские карты,
мног виденные как-то раз в купе,
ожившие, ее сопровождали.
И все тянулось к ней в немой мольбе.
Но шла она ко мне! И зазвучали
томительные скрипки, лепестки
пионов темных падали в фонтаны
медлительно. И черные очки
она сняла, приблизившись. И странным,
нездешним светом хищные зрачки
сияли, и одежды ниспадали,
и ноготки покрашенные сжали

50

мне... В общем, Лена, 20 лет
мне было. И проснувшись до подъема,
я плакал от стыда. И мой сосед
Дроздов храпел. И никакого брома
не содержали, Лена, ни обед,
ни завтрак и ни ужин. Вовсе нет.

IX

ЭКЛОГА

Мой друг, мой нежный друг, зарывшись с головою,
в пунцовых лепестках гудит дремучий шмель.

И дождь слепой пройдет над пышною ботвою,
в террасу проскользнет сквозь шиферную щель,

и капнет на стихи, на желтые страницы

Эжена де Кюсти, на огурцы в цвету.

И жезь раскалена, и кожа золотится,
анисовка уже теряет кислоту.

А раскладушки холст все сохраняет влажность
ушедшего дождя и спину холодит.

И пение цикад, и твой бюстгальтер пляжный,
и сонных кур возня, и пенье аонид.

Сюда, мой друг, сюда! Ты знаешь край, где вишня
объедена дроздом, где стрекот и покой,
и киснет молоко, мой ангел, и облыжно
благословляет всех зеленокудрых зной.

Зеленокудрый фавн, безмозглый, синеглазый,
капустницы крыла и Хлои белизна.

В сарае темном пыль, и ржавчина, и грязный
твой плюшевый медведь, и лирная струна

поет себе, поет. Мой нежный друг, мой глупый,
нам некуда идти. Уж огурцы в цвету.
Гармошка на крыльце, твои сухие губы,
веснушки на носу, улыбки на лету.

Но, ангел мой, замри, закрой глаза. Клубнику
последнюю уже прими в ладонь свою,
александрийский стих из стародавней книги,
французскую печаль, летейскую струю

тягучую, как мед, прохладную, как щавель,
хорошую, как ты, как огурцы в цвету.
И говорок дриад, и Купидон картавый,
соседа-фавна внук в полуденном саду.

Нам некуда идти. Мы знаем край, мы знаем,
как лук-порей красив, как шмель нетороплив,
как зной смежил глаза и цацкается с нами,
как заросла вода под сенью старых ив.

И некуда идти. И незачем. Прекрасный,
мой нежных друг, сюда! Взгляни — лягушка тут
зеленая сидит под георгином красным.
И пусть себе сидит. А мы пойдем на пруд.

К О Н Е Ц

Сантименты

Май — сентябрь
· 1989 г.

Лене Борисовой

ВМЕСТО ЭПИГРАФА

ИЗ ДЖОНА ШЭЙДА

Когда, открыв глаза, ты сразу их зажмуришь
от блеска зелени в распахнутом окне,
от пенья этих птиц, от этого июля, —
не стыдно ли тебе? не страшно ли тебе?

Когда сквозь синих туч на воды упадет
косой последний луч в озерной тишине,
и льется по волне, и долго остывает, —
не страшно ли тебе? не стыдно ли тебе?

Когда летящий снег из мрака возникает
в лучах случайных фар, скользнувших по стене,
и пропадает вновь, и вновь бесшумно тает
на девичьей щеке, — не страшно ли тебе?

Не страшно ли тебе, не стыдно ль — по асфальту
когда вода течет, чернеет по весне,
и в лужах облака, и солнце лижет парту
четвертой четверти, — не страшно ли тебе?

Я не могу сказать о чем я, я не знаю...
Так просто, ерунда. Все глупости одне...
Какая красота, и тишина какая...
Не страшно ли, скажи? не стыдно ли тебе?



МИШЕ АЙЗЕНБЕРГУ

ЭПИСТОЛА О СТИХОТВОРСТВЕ

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые — это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заведомо разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове...

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

1

«Посреди высотных башен
вид гуляющего...» Как,
как там дальше? Страшен? Страшен.
Но ведь был же, Миша, знак,
был же звук! И, бедный слух
напрягая, замираем,
отгоняя, словно мух,
актуальных мыслей стаи,
отбиваемся от рук,
от миллиона липких рук,
от наук и от подруг.
Воздух горестный вдыхая,
синий воздух, нищий дух.

2

Синий воздух над домами
 потемнел и пожелтел.
 Белый снег под сапогами
 закрипел и посинел.
 Свет неоновый струится.
 Мент дубленый засвистел.
 Огонек зеленый мчится.
 Гаснут окна. Спит столица.
 Спит в снегах СССР.
 Лишь тебе еще не спится.

3

Чем ты занят? Что ты хочешь?
 Что губами шевелишь?
 Может, Сталина порочишь?
 Может, Брежнева хулишь?
 И клянешь года застоя,
 позитивных сдвигов ждешь?
 Ты в ответ с такой тоскою —
 «Да пошли они!» — шепнешь.

4

Человек тоски и звуков,
 зря ты, Миша. Погляди —
 излечившись от недугов,
 мы на истинном пути!
 Все меняют стиль работы —
 Госкомстат и Агропром!
 Миша, Миша, отчего ты
 не меняешь стиль работы,
 все толдычишь о своем?

И опять ты смотришь хмуро,
 словно из вольера зверь.
 Миша, Миша, диктатура
 совести у нас теперь!
 То есть, в сущности, пойми же,
 и не диктатура, Миш!
 То есть диктатура, Миша,
 но ведь совести, пойми ж!
 Ведь не Сталина-тирана,
 не Черненко моего!
 Ну какой ты, право, странный!
 Не кого-то одного —
 Совести!! Шатрова, скажем,
 ССП и КСП,
 и Коротича, и даже
 Евтушенко и т.п.!
 Всех не вспомнишь. Смысла нету.
 Перечислить мудрено.
 Ведь у нас в Стране Советов
 всякой совести полно!

Хватит совести, и чести,
 и ума для всех эпох.
 Не пустует свято место.
 Ленин с нами, видит Бог!
 Снова он на елку в Горки
 к нам с гостинцами спешит.
 Детки прыгают в восторге.
 Он их ласково журит.
 Ну не к нам, конечно, Миша.
 Но и беспризорным нам

дядя Феликс съест крышу,
вытащит из наших ям,
и отучит пить, ругаться,
приохотит к ремеслу!
Рады будем мы стараться,
рады теплому углу.

7

Рады, рады... Только воздух,
воздух синий ледяной,
звуков пустотелых гроздь
распирают грудь тоской!
Воздух краденый глотая,
задыхаясь в пустоте,
мы бредем — куда не знаем,
что поем — не понимаем,
лишь вдыхаем, выдыхаем
в полоумной простоте.
Только вдох и только выдох,
еле слышно, чуть дыша...
И теряются из вида
диссиденты ВПШ.

8

И прорабы духа, Миша,
еле слышны вдалеке.
Шум все тише. Звук все ближе.
Воздух чище, чище, чище!
Вдох и выдох налегке.
И не видно и не слышно
злополучных дурней тех,
тех тяжелых, душных, пышных
наших преющих коллег,
прущих, лезущих без мыла

с Вознесенским во главе.
Тех, кого хотел Эмильич
палкой бить по голове.
Мы не будем бить их палкой.
Стырим воздух и уйдем.
Синий-синий, жалкий-жалкий
нищий воздух сбережем.

9

Мы не жали, не потели,
не кляли земной удел,
мы не злобились, а пели
то, что синий воздух пел.
Ах, мы пели — это дело!
Это — лучшее из дел!..
Только волос поседел.
Только голос, только голос
истончился, словно луч,
только воздух, воздух, воздух
струйкой тянется в нору,
струйкой тоненькой сочится,
и воздушный замок наш
в синем сумраке лучится,
в ледяной земле таится,
и таит, и прячет нас!
И воздушный этот замок
(Ничего, что он в земле,
ничего, что это яма)
носит имя Мандельштама,
тихо светится во мгле!
И на улице на этой,
а вернее, в яме той
праздника все также нету.
И не надо, дорогой.

Так тебе и надо, Миша!
Так и надо, Миша, мне!..
Тише. Слышишь? Вот он, слышишь?
В предрассветной тишине
над сугробами столицы
вот он, знак, и вот он, звук,
синим воздухом струится,
наполняя бедный слух!
Слышишь? Тише. Вот он, Миша!
Ледяной проточный звук!
Вот и счастье выше крыши,
выше звезд на башнях, выше
звезд небесных, выше мук
творчества, а вот и горе,
вот и пустота сосет.
Синий ветер на просторе
грудь вздымает и несет.
Воздух краденый поет.

ЭПИТАФИИ БАБУШКИНОМУ ДВОРУ

1

Ты от бега и снега налипшего взмок.
Потемневший, подтаявший гладкий снежок
ты сжимаешь в горячей ладошке
и сосешь воровато и жадно, хотя
пить от этого хочешь сильнее.
Жарко... Снять бы противный девчачий платок
из-под шапки... По гладкой дорожке,
разогнавшись, скользишь, но полметра спустя —
вверх тормашками, как от подножки.

Солнце светит — не греет. А все же печет.
И в цигейке с родного плеча горячо,
жарко дышит безгрешное тело.
И болтаются варежки у рукавов,
и прикручены крепко снегурки...
Ледяною корою покрылся начес
на коленках. И вот уже целый
месяц елка в зеркальных пространствах шаров
искривляет мир комнаты белой.

И ангиной грозит тебе снег питьевой.
Это, впрочем, позднее. А раньше всего,
 сладолюбивей всего вспоминаешь
четкий вафельный след от калош на пустом,
 на первейшем крахмальном покрове.
И земля с еще свежей зеленой травой
 обнажится, когда ты катаешь
мокрый снег, налипающий пласт за пластом,
 и пузатую бабу ваяешь.

У колонки наросты негладкого льда...
Снегири... Почему-то потом никогда
 не видал их... А может, и раньше
видел лишь на «Веселых картинках», и сам
 перенес их на нашу скамейку...
Только это стоит пред глазами всегда.
С меха шубки на кухне стекает вода.
Ты в постели свернулся в клубок и примолк,
 вспоминаешь «Письмо неумейке».

РУССКАЯ ПЕСНЯ

ПРОЛОГ

Я берег покидал туманный Альбиона.

Я проходил уже таможенный досмотр.
Как некий Чайльд-Гарольд, в печали незаконной
я озирал аэропорт.

Покуда рыжий клерк, сражаясь с терроризмом,
Денискин «Шарп» шмонал, я бросил взгляд назад,
я бросил взгляд вперед, я встретил взгляд Отчизны,
и взгляд заволокла невольная слеза.

Невольною тоской стеснилась грудь. Прощай же!

Любовь моя, прощай, Британия, прощай!
И помнись обещаешь.

И вам поклон низжайший,

анслейские холмы!.. Душа моя мрачна —

My soul is dark. Скорей, певец, скорее!
Опять ты с Ковалем напился допьяна.

Я должен жить, дыша и большевея.

Мне не нужна

страна газонов стриженных и банков,
каминов и сантехники чудной.

Британия моя, зеленая загранка,
мой гиннес золотой!

Прощай, моя любовь! Прощание славянки.
Прощай, труба зовет, зовет Аэрофлот.
Кремлевская звезда горит, как сердце Данко,
«Архипелаг Гулаг» под куртку ревет.

Платаны Хэмпстэда, не поминайте лихом!
Прощай, мой Дингли Делл. Прощай, король Артур.
Я буду вспоминать в Отечестве великом
тебя, сэр Саграмур.

Прощай, мой Дингли Делл. Я не забуду вас.
Айвенго, Вашу руку!
Судьба суровая на вечную разлуку,
быть может, породнила нас.

Прощай, мой Дингли Делл, мой светлый Холли Буш,
газонов пасмурных сиянье.
Пью вересковый мед, пью горечь расставанья.
Я больше не вернусь.

Прощай, Британия... My native land, welcome!
Welcome, welcome, завмаги и завгары!
Привет вам, волочильщики, и вам,
сержанты, коменданты, кочегары,
вахтерши, лимита, медперсонал,
кассирши, гитаристы, ИТРы,
оркестров симфонических кагал,
пенсионеры, воры, пионеры,
привет горячий, пламенный привет
вам, хлопкоробы, вам, прорабы,
народный университет,
Степашка с Хрюшей, Тяпа с Ляпой,
ансамбль Мещерина, балет,
афганцы злые, будки, бабы,
мальчишки, лавки, фонари,
дворцы — гляди! — монастыри,

бухарцы, сани, огороды,
купцы, лачужки, мужики,
бульвары, башни, казаки,
аптеки, магазины моды,
балконы, львы на воротах
и стаи галок на крестах.

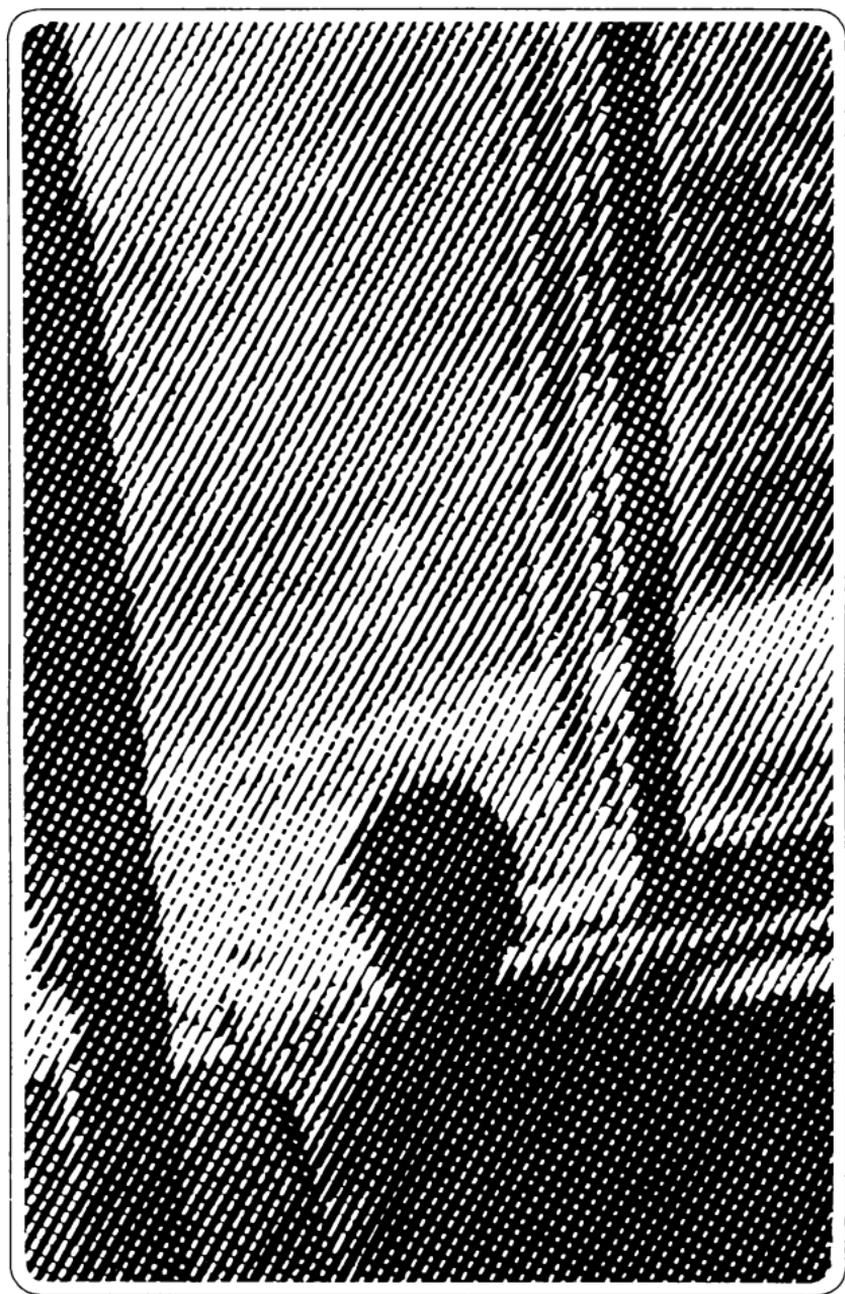
Привет, земля моя. Привет, жена моя.

Пельмени с водочкой — спасибо!..

Снег грязненький поет и плачет в три ручья,
и голый лес — такой красивый!

Вновь пред твоей судьбой, пред встречей роковой
я трепещу и обмираю.

Но мне порукой Пушкин твой,
и смело я себя вверяю!..



ЭПИТАФИИ БАБУШКИНОМУ ДВОРУ

2

Но вот уже, в боты набравши воды,
корабль из слоистой сосновой коры
пускаешь по мусорным, бурным ручьям,
 слепящим глаза!

Веселое, словно коза-дереза,
брыкастое солнце изводит следы
обглоданных, нечистоплотных снегов
 по темным углам.

И прель прошлогодняя, ржавчина, хлам
прекрасны! И так же прекрасен и нов
мяча сине-красного первый шлепок!

И вот уже, вот —

и сладких, и липких листочков налет
покрыл древесину, и ты изнемог
от зависти, глядя, как дядя Вадим
сарай распахнул

и пыльный «Орленок» выводит за руль.
И вот уже, гордый бесстрашьем своим,
ты слышишь гуденье двух пойманных ос
в пустом коробке.

И в маленьком пятиконечном цветке,
единственном в горах сиреневых звезд
у нашей калитки, ты счастье найдешь.
И вот уже кровь

увидев на грязной коленке, готов
расплакаться, но ничего, заживешь
до свадьбы. И дедушка снова с утра
отправился в сад.

И в розово-белом деревья стоят.
И ждет не дождется каникул сестра.
И вечером светлым звучит издали
из парка фокстрот.

И вот уже ставни закрыты. И вот
ты спишь и летишь от прогретой земли.
И тело растет.

К ВОПРОСУ О РОМАНТИЗМЕ

*Всем телом, всем сердцем, всем
сознанием — слушайте Революцию!*

А.БЛОК

И скучно и грустно. Свинцовая мерзость.
Бессмертная пошлость. Мещанство кругом.
С усами в капусте. Как черви слепые.
Давай отречемся! Давай разобьем
оковы! И свергнем могучей рукою!
Гори же, возмездья священный огонь!

На волю! На волю из душной неволи!
На волю! На волю! Эван эвоэ!
Плесну я бензином! Гори-гори ясно!
С дороги! Филистер, буржуй и сатрап!
Довольны своей конституцией куцей?
Печные горшки вам дороже, скоты?
Так вот же вам, вот! И посыпались стекла.

Эван эвоэ! Мы под сводом законов
задохлись без солнца — даешь динамит!
Ножом полосну, полосну за весну я!
Мне дела нет, сволочь, а ну сторонись!

С дороги, с дороги, проклятая погань!
О Либер, о Либер, свободы мой бог!
Спаси, бля, помилуй! Насилуй, насилуй!
Тошнит от воды с вашей хлоркой! Залей
вином нас, и кровью, и спермой, восторгом
преданья огню! Предадимся огню!
Хочу я, и все тут, хочу я, хочу я!
На горе буржуйам, эх-эх, попляши!

Гори, полыхай, ничего не жалей!
Сарынь же на кичку! Эван эвоэ!
Довольно законом нам жить! Невтерпеж!
Нет удержу! Нет! Не хочу, не хочу!
Пусть все пропадет. Эх-эх, согреси!
И пусть только сунется Тот, кто терпел
и нам повелел! Невтерпеж мне! Ату!
Он нам ни к чему! Нам Варраву, Варраву!
Не сторож я брату, не сторож, не брат!

Напишем на знамени «Нет!» Ни на чью
команду мы «Есть!» не ответим! Срываем
погоны, гауптвахту к чертям разломаем!
Уйдем в самоволку до смерти! Сарынь
на кичку! Allons же enfants на отцов!
Откажемся впредь сублимировать похоть!
Визжи под ножом толстомясая мразь!

Эй, жги город Гамельн! Эй, в стойла соборы!
Гулящая девка на впалой груди!
Не трусь! Aut Caesar, пацан, aut nihil!
Долой полумеры! Эй, шашки подвысь!

Эгей! Гуляй-поле и музыка грянь же
над сворою псов-волкодавов! Долой!
Долой! Всех и всяческих цезарей к стенке!
Вся власть никому, никому, ничему!
Да здравствует nihil! Но даже Ничто
над нами не властно, не властно, не властно!

Свобода, свобода, эх-эх, без креста!
Так пусть же сильней грянет буря, ебёныть!
Эх-эх, попляши, попляши, Саломея,
сколь хочешь голов забирай, забирай!
О, злоба святая! О, похоть святая!
Довольно нам охать, вздыхать, подыхать!

Буржуи, буржуи, жлобы, фраера,
скорей прячьте жирное тело в утесах!
Свобода крылата — и перышком в бок!
Отдай же мне Богово, Бог, и отдай
мне, кесарь, свое — подобра-поздорову!
По злу отберу! Ga iga! Ga iga!
Всех кратов повесим, повесим, повесим!

Казак, не терпи, не терпи ничего,
а то атаманом не будешь, не будешь!
O nihil! O вольный полет в пустоте!
Бесцветная жизнь, но от крови — малина!
Не ссы! За процентщицей вслед замочи
и Соню, сначала отхарив, и Дуню,
и Федор Михалыча! Право имей!
Не любо?! Дрожащая тварь, что, не любо?
Ага! Будешь знать, будешь знать, будешь знать!
Бог, если не умер, то будет расстрелян!
За все отомстим мы, всему отомстим
И тем и другим, и себе, и себе!

Allons в санкюлоты! Срывай же штаны!
Пусти же на волю из этих Бастилий
зверюгу с фригийской головкою! Гей!
Нож к горлу — и каждая будет твоей!
Нож в горло — и ты Übermensch, и Бог умер!

«Эй, дай закурить! Ах, не куришь, козел!»
И бей по очкам эту суку! Прикончи!
Его, и его, и себя, и себя!
Смысл свергнут! Царь и в голове не уйдет!
Эй, бей на куски истукан Аполлона!
Да скроется солнце, да здравствует тьма!

О, вскрыем же фомкою ящик Пандоры,
в который свободу упрятали вы!

Растопим же сало прогорклое ваше
огнем мирового пожара! Даешь!

Единственный способ украсить жилплощадь —
поджечь ее! Хижинам тоже война!
Все стены долой, все границы, все плевые!
Allons же в безбрежность, enfant мой terrible!

Весь мир мы разрушим, разрушим, разрушим!
И строить не будем мы новый, не будем!
И что было всем, снова станет ничем!
О Хаос родимый! О Демон прекрасный!
Гори же ты пламенем синим! Плевать!
И вечный, бля, бой! Эй, пальнем-ка, товарищ,
в святую — эх-ма — в толстозадую жизнь!

О, пой же, Сирена, мне песнь о свободе,
О гибели, гибели, гибели пой!
Я воском не стану глушить твоё пенье!
О, пой же мне древние песни, о, пой
про Хаос родимый, родимый, родимый!

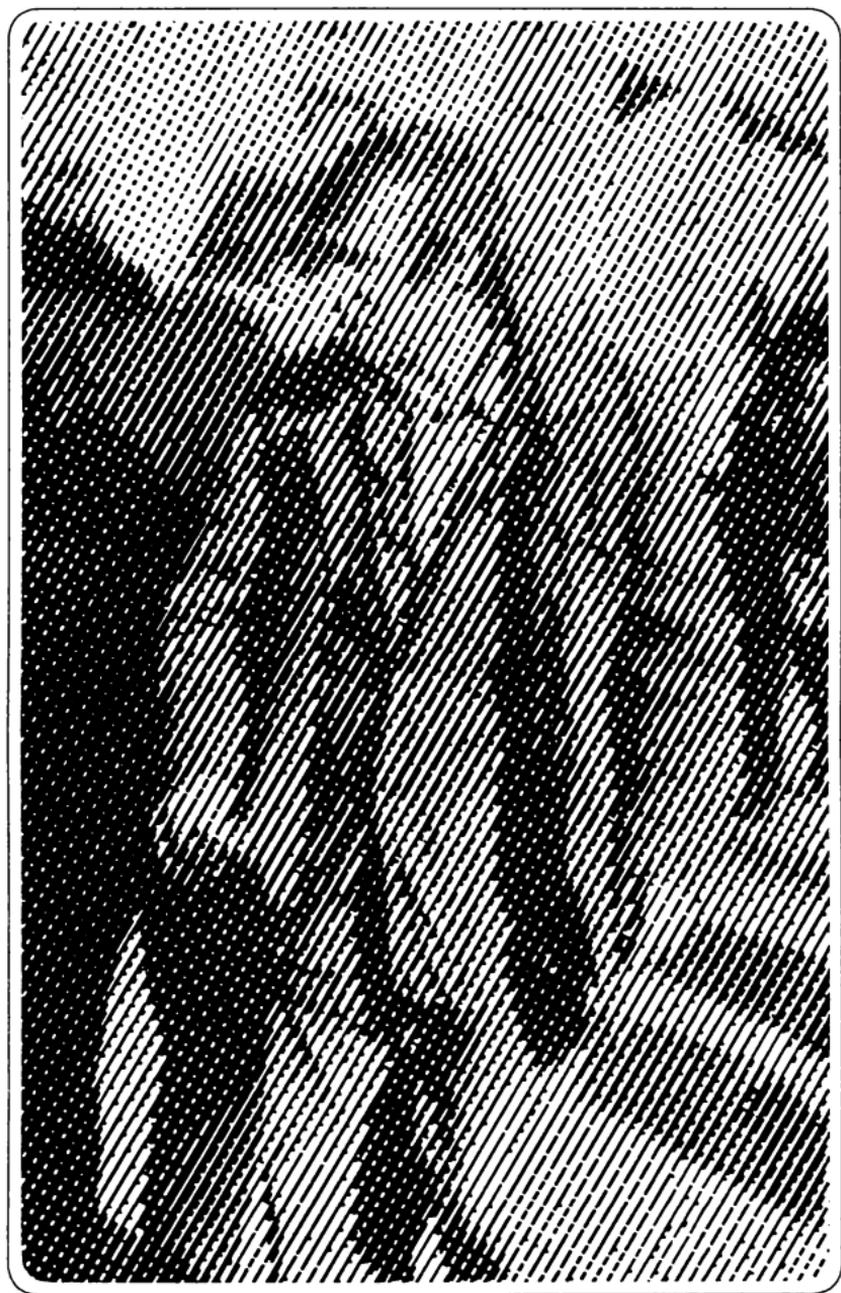
Хочу! Выхожу из себя — из тюрьмы!
Из трюма — из тела уж лучше на дно нам!
Мы днище продолбим, продолбим, продолбим!
Эван эвоэ! О тимпаны в висках!
О сладость, о самозабвенье полета —
пусть вниз головой, пусть единственный раз
с высот крупноблочного дома в асфальт!
Кончай с этой рабской душою и телом!..

И вот я окно распахнул и стою,
отбросив ногою горшочек с геранью.
И вот подоконник качнулся уже...

И вдруг от соседей пахнуло картошкой,
картошкой и луком пахнуло до слез.
И слюнки текут... И какая же пошлость
и глупость какая! И жалко горшок
разбитый. И стыдно. Ах, Господи Боже!
Прости, дурака! Накажи сопляка
за рабскую злобу и неблагодарность!

Да здравствуют музы! Да здравствует разум!
Да здравствует мужество, свет и тепло!
Да здравствует Диккенс, да здравствует кухня!
Да здравствует ленкин сверчок да герань!

Гостей позовем и картошки нажарим,
бокалы наполним и песню споем!



РУССКАЯ ПЕСНЯ

Нелепо ли, братцы? — Конечно.
Еще как нелепо, мой свет.
Нет слаще тебя и кромешней,
тебя несуразнее нет!

Твои это песни блатные
сливаются с музыкой сфер,
Россия, Россия, Россия,
Российская СФСР!

И льется под сводом Осанна,
и шухер в подъезде шмыгнул.
Женой Александр Алексаныч
назвал тебя — ну сказанул!

Тут Фрейдю вмешаться бы впору,
тут бром прописать бы ему!
Получше нашла ухажера
Россия, и лишь одному

верна наша р^одная мама,
нам всем Джугашвили отец.
Эдипова комплекса драму
пора доиграть наконец...

А мне пятый пункт не позволит
и сыном назваться твоим.
Нацменская вольная воля,
Развейся, Отечества дым!

Не ты ль мою душу мотала?
Не я ль твою душу мотал?
В трамвае жидом обзывала,
в казарме тюрьмою назвал.

И все ж от Москвы до окраин
шагал я, кругом виноват,
и слышал, очки протирая,
великий, могучий твой мат!

И побоку злость и обида,
ведь в этой великой стране
хорошая девочка Лида
дала после танцев и мне!

Ведь вправду страны я не знаю,
где так было б вольно писать,
где слово, в потемках сгорая,
способно еще убивать...

О Господи, как это просто,
как стыдно тебе угодить,
наколки, и гной, и коросту
лазурью и золотом покрыть!

Хоругви, кресты да шеломы,
да очи твои в пол-лица!
Для этой картинки искомой
ищи побойчее певца!

Позируй Илье Глазунову,
Белову рассказ закажи
и слушай с улыбкой фартовой,
на нарах казенных лежи.

Пусть ласковый Сахар Медович,
Буй-тур Стоеросов пускай,
трепещущий пусть Рабинович
кричат, что не нужен им рай —

дай Русь им!.. Про это не знаю.
Но слыша твой оклик: «Айда!»,
монатки свои собираю,
с тобой на этап выходя.

И русский — не русский — не знаю,
но я буду здесь умирать.
Поэтому этому краю
имею я право сказать:

стихия, мессия, какие
еще тебе рифмы найти?
В парижских кафе — ностальгия,
в тайге — дистрофия почти,

и — Боже ж ты мой! — литургия,
и Дева Мария, и вдруг —
петлички блестят голубые,
сулят, ухмыляясь, каюк!

Ведь с четырехтомником Даля
В тебе не понять ни хрена!
Ты вправду и ленью, и сталью,
и сталью, и ленью полна.

Ты собственных можешь Платонов,
Невтонов плодить и гноить,
и кровью залитые троны
умеешь ты кровью багрить!

Умеешь последний целковый
отдать, и отнять, и пропить,
и правнуков внука Багрова
в волне черноморской топить!

Ты можешь плясать до упаду,
стихи сочинять до зари,
и тут же, из той же тетради
ты вырвешь листок, и — смотри

ты пишешь донос на соседа,
скандалишь с помойным ведром,
французов катаешь в ракете,
кемаришь в вечернем метро,

дерешься саперной лопаткой,
строптивных эстонцев коришь,
и душу, ушедшую в пятки,
Высокой Духовностью мнишь!

Дотла раскулачена, плачешь,
расхристана — красишь яйцо,
на стройках и трассах ишачишь,
чтоб справить к зиме пальтецо.

Пусть блохи английские пляшут,
нам их подковать недосуг,
в субботу мы «черную» пашем,
отбившись от собственных рук.

Последний кабак у заставы,
последний пятак в кулаке,
последний глоток на халяву,
и Ленин последний в башке.

С тоской отвернувшись от петель,
сам Пушкин прикрыл тебе срам.
Но что же нам все же ответить
презрительным клеветникам?

Вот этого только не надо!
Не надо бубнить про татар,
про немцев-баронов, про НАТО,
про жидо-масонский кагал!

Смешно ведь... Из Афганистана
вернулись... И времени нет...
Когда ж ты дрожать перестанешь
от крика: «На стол партбилет!»?

Когда же, когда же, Россия?
Вернее всего, никогда.
И падают слезы пустые
без смысла, стыда и следа.

И как наплевать бы, послать бы,
скипнуть бы в Европу свою...
Но лучше сыграем мы свадьбу,
но лучше я снова спою!

Ведь в городе Глупове детство
и юность прошли, и теперь
мне тополь достался в наследство,
асфальт, черепица, фланель,

и фантик от «Раковой шейки»,
и страшный поход в Мавзолей,
снежинки на рыжей цигейке,
герань у хозяйки моей,

и шарик от старой кровати,
и Блок, и Васек Трубачев,
крахмальная тещина скатерть,
убитый тобой Башлачев,

досталась Борисова Лена,
и песня про ванинский порт,
мешочек от обуви сменной,
антоновка, шпанка, апорт,

закат, озаривший каптерку,
за Шильковым синяя даль,
защитна твоя гимнастерка,
и темно-вишневая шаль,

и версты твои полосаты,
жена Хаз-Булата в крови,
и зэки твои, и солдаты,
начальнички злые твои!

Поэтому я продолжаю
надеяться черт-те на что,
любить черт-те что, подыхая,
и верить, и веровать в то,

что Лазарь воскреснет по Слову
Предвечному, вспрянет от сна,
и тихо к Престолу Христову
потянемся мы с бодуна!

Потянемся мы, просыпаясь,
с тяжелой, пустой головой,
и щурясь, и преображаясь
от света Отчизны иной —

невиданной нашей России,
чахоточной нашей мечты,
воочью увидев впервые
ее дорогие черты!

И, бросив на стол партбилеты,
в сиянии радужных слез,
навстречу Фаворскому Свету
пойдет обалдевший колхоз!

Я верую — ибо абсурдно,
абсурдно, постыдно, смешно,
бессмысленно и безрассудно,
и, может быть, даже грешно.

Нелепо ли, братцы? — Нелепо.
Молись, Рататуй дорогой!
Горбушкой канадского хлеба
занюхай стакан роковой.

ЭПИТАФИИ БАБУШКИНОМУ ДВОРУ

3

Распахнута дверь. И в проеме дверном
колышится тщетная марля от мух.
И ты, с солнцепека вбежав за мячом,
босою и пыльной ступней ощутишь
прохладную мытую гладь половиц.
Побеленных комнат пустой полумрак
покажется странным. Дремотная тишь.
Лишь маятник, лишь монотонность осы,
сверлящей стекло, лишь неверная тень
осы сквозь крахмал занавески... Но вновь,

глотнув из ведра тепловатой воды,
с мячом выбегаешь во двор и на миг
ослепнешь от шума, жары и цветов,
от стука костяшек в пятнистой тени,
где в майках, в пижамах китайских сидят
мужчины и курят «Казбек», от возни
на клумбе мохнатых медлительных пчел.

Горячей дорожкой из кирпича
нестарая бабушка с полным ведром
блестящей воды от калитки идет...
Томительно зреют плоды. Алыча
зеленая с белой косточкой, вся
безвременно съедена... На пустыре
плохие большие мальчишки в футбол
и карты играют. Тебе к ним нельзя.
От стойкой жары выгорает земля,
и выцветет небо к полудню, совсем
как ситец трусов по колено... Вода
упругой и мелкой реки пронесет
тебя под мостом на резине тугой,
на камере автомобильной (Хвалько
«Победу» купили)... И так далеко
все видно, когда, исцарапав живот,
влезает на тополь, — гряда черепиц
утоплена в зелени, и над двором
соседним летают кругами, светясь
плакатной невинностью, несколько птиц.

ВОСКРЕСЕНИЕ

Д. Новикову

Перед рассветом зазвучала птица.
И вот уже сереющий восток
алеет, розовеет, золотится.

Росой омыты каждый стебелек,
листок, и лепесток, и куст рябины,
и розовые сосны, и пенек.

И вот уж белизною голубиной
сияют облака меж темных крон
и на воде, спокойной и невинной.

И лесопарк стоит заморожен.
Но вот в костюме импортном спортивном
бежит толстяк, спугнув чету ворон.

И в ласковых лучах виденьем дивным
бегуны мчатся. Чесучевый дед,
глазами съев их грудки, неотрывно

их попки ест, покуда тет-а-тет
пса внучкина с дворнягой безобразной
не отвлечет его. Велосипед

несет меж тем со скоростью опасной
двух пацанов тропинкой по корням
дубов и дребезжит. И блещет ясно

гладь водная, где, вопреки считам
осводовским, мужчина лысоватый
уж миновал буйки, где, к поплавам

взгляд приковав, парнишка конопатый
бессмысленно сидит. Идет семья
с коляскою на бережок покатый.

И буквы ДМБ хранит скамья
в тени ветвей. На ней сидит старушка
и кормит голубей и воробья.

И слышен голос радостный с опушки,
залитой солнцем: «Белка, белка!» — «Где?»
— «Да вот же, вот!» И вправду — на кормушке

пронырливый зверек. А по воде
уж лодки, нумерованные ярко,
скользят. Торчит окурок в борде

верзилы полугололого. Как жарко.
И очередь за квасом. Смех и грех
наполнили просторы лесопарка.

Играют в волейбол. Один из тех,
кто похмелиться умудрился, громко
кадрится без надежды на успех

к блондинке в юбке джинсовой. Потомки
ворчливых ветеранов тарахтят —
они в Афган играют на обломках

фанерных теремка. И добрый взгляд
Мишутки олимпийского направлен
на волка с зайцем, чьи тела хранят

следы вечерних пьянок. Страшно сдавлен
рукою с синей надписью «Кавказ»
блестящий силомер. И мяч направлен

нарочно на очкарика. «Атас!»
И, спрятав от мента бутылки, чинно
сидят на травке. Блещет, как алмаз,

стакан, забытый кем-то. Викторина
идет на летней сцене. И поет
то Алла Пугачева, то Сабрина,

то Розенбаум. И струится пот
густой. И с непривычною обновой —
с дубинкой черной — рыжий мент идет,

поглядывает. И Высоцкий снова
хрипит из репродуктора. И вновь
«Май ласковый», и снова Пугачева.

Как душно. И уже один готов.
Храпит в траве с расстегнутой ширинкой.
И женский визг, и хохот из кустов,

И кровь — еще в диковинку, в новинку —
сочится слишком ярко из губы
патлатого подростка, без запинки

кричащего ругательства. Жлобы
в тени от «Жигулей» играют в сику.
И ляжки, сиськи, животы, зобы,

затылки налитые, хохот, крики,
жара невыносимая. Шашлык
и пиво. Многоликий и безликий

народ потеет. Хохот. Похоть. Крик.
Блеск утомляет. Тучи тяжелеют,
сбиваются. Затмился гневный лик

светила лучезарного. Темнеет.
И духота томит, гнетет, башка
трещит, глаза налитые мутнеют,

мутит уже от теплого пивка,
от наготы распаренного тела,
от рислинга, портвейна, шашлыка

говяжьего... «Мочи его, Акелла!» —
визжат подростки. Но подходит мент,
и драка переносится. Стемнело

уже совсем. А дождика все нет.
Невыносимо душно. Танцплощадка
пуста. Но наготове контингент

милиции, дружинников. Палатка
пивная закрывается. Спешит
пикник семейный уложить манатки

и укатить на «Запорожце». Спит
ханыга на скамейке. На девчонок,
накрашенных и потерявших стыд,

старуха напустилась, а ребенок,
держа ее за руку, смотрит зло.
«Пошла ты, бабка!» — голос чист и звонок,

но нелюдской какой-то. Тяжело
дышать, и все темнее, все темнее.
И фонари зажглись уже. Стекло

очков разбито. И, уже зверя
от душной темноты, в лицо ногой
лежащему. И с ревом по аллее

мотоциклисты мчатся. И рукой
зажат девичий рот. И под парнями
все бьется тело на траве сухой,

все извивается... Расцвечена огнями
явится танцплощадка. Про любовь
поет ансамбль блатными голосами,

про звезды, про любовь. Темнеет кровь
на белом, на светящейся рубахе
лежащего в кустах. И вновь, и вновь

вскипает злость. И вот уже без страха
отверткой тонкой ментовскую грудь
пацан тщедушный проколол. И бляхой

свистящею в висок! И чем-нибудь —
штaketником, гитарой, арматурой —
мочи ментов! Мочи кого-нибудь!

Дружинника, явившегося сдуру,
вот этих сук! Вон тех! Мочи! Дави!
Разбитая искрит аппаратура.

И гаснет свет. И вой. И не зови
на помощь. Не придет никто. И хохот,
И вой, и стоны. И скользят в крови

подошвы. И спасенья нет. И похоть
визжит во мраке. И горит, горит
беседка подоженная. И хохот

бесовский. И стада людские мчит
в кромешном вихре злорадия нелюдская.
И лес горит. И пламя веселит

безумцев. И кривляется ночная
тьма меж деревьев пламенных. Убей!
Убей его! И, кровью истекая,

хохочут и валяются в своей
блевоте, и сплетаются клубками
в зловонной духоте. И все быстрей

пляс дьявольский. И буйными телами
они влекомы в блуд, и в смерть, и в жар
огня, и оскверненными устами

они поют, поют, и сотни пар
вгрызаются друг в друга в скотской страсти,
и хлещет кровь, и ширится пожар,

и гибель, и ухмылка вражьей пасти.
И длится шабаш. И конец всему.
Конец желанный. И шабаш. И баста.

И молния, пронзив ночную тьму,
сверкнула грозно. И вослед великий
гром грянул. И, неясные уму,

но властные, с небес раздалились клики.
И твердь земная глухо сотряслась.
И все сердца познали ужас дикий.

И первый Ангел вострубил. И глас
его трубы кровавый град горящий
низринул на немощствующих нас,

и жадный огонь объял луга и чащи.
И следующий Ангел вострубил!
И море стало кровию кипящей.

И третий Ангел вострубил! И был
ужасен чистый звук трубы. И пала
Звезда на реки. И безумец пил

смерть горькую. И снова прозвучала
труба! И звезды меркли, и луна
на треть затмилась. И во тьме блуждало

людское стадо. И была слышна
речь Ангела, летящего над нами.
И тень от шумных крыл была страшна.

И он гласил нам: «Горе!» И словами
своими раздирал сердца живых.
«О, горе, горе, горе!» И крылами

огромными шумел. «От остальных
трех труб вам не уйти!» И Ангел пятый
победно вострубил! И мир затих.

И в тишине кометою хвостатой
разверзнут кладезь бездны, и густой
багряный дым извергнулся и стадо

огромной саранчи. И страшный вой
раздался. И, гонимый саранчою,
в мучениях метался род земной.

Как кони, приготовленные к бою,
была та саранча в венцах золотых,
в железных брöнях, а лицо людское,

но с пастью львиной. И тела живых
хвосты терзали скорпионьи. Имя
Аполлион носил владыка их.

И Ангел вострубил! И мир родимый
оглох навек от топота копыт,
ослеп навеки от огня и дыма!

И видел я тех всадников — укрыт
был каждый в латы серные, и кони
их лвам подобны были. И убит

был всяк на их пути. И от погони
не многие спаслись. Но те, кто спас
жизнь среди казней этих, беззаконья

не прекращали. И, покуда глас
трубы последней не раздастся, будут
все поклоняться бесам, ни на час

не оставляя бешенства и блуда...
И видел я, как Ангел нисходил
с сияющего неба, и как будто

Он солнце на челе своем носил
и радугу над головой. И всюду
разнесся глас посланца Высших Сил.

И клялся Он, что времени не будет!

ЭПИТАФИИ БАБУШКИНОМУ ДВОРУ

4

Дождь не идет, а стоит на дворе,
вдруг опустевшем, — в связи не с дождем,
а с наступлением — вот и октябрь! —
года учебного.

Лист ярко-желтый ныряет в ведре
под водосточной трубой. Над кустом
роз полусгнивших от капель видна
рвань паутинная.

Мертвой водой набухает листва,
клумба, штакетник, дощатый сортир,
шифер, и вишня, и небо... Прощай,
дверь закрывается.

Как зелена напоследок трава.
В луже рябит перевернутый мир.
Брошен хозяйкою, зайка промок
там, на скамеечке.

А на веранде холодной — бутыль
толстая с трубкой резиновой, в ней
бродит малина. А рядом в мешке
яблоки красные.

Здесь, под кушеткою, мяч опочил.
Сверху — собрание летних вещей —
ласты с утесовской шляпою, зонт
мамин бамбуковый.

Что ж, до свиданья... Печальный уют
в комнатах дождь законный творит.
Длинных, нетронутых карандашей
блеск соблазнителен.

Ластик бумагу терзает. Идут
стрелки и маятник. Молча сидит
муха последняя сонная... Что ж,
будем прощаться.

Все еще летнему телу претят
сорок одежек, обувка, чулки,
байковый лифчик. На локте еще
ссадины корочка.

Что ж, до свидания. Ставни стучат.
Дедушка спит, не снимая очки
у телевизора. Чайник поет.
Грифель ломается.

К О Н Е Ц

*Послание Ленке
и другие
сочинения*

1990 г.

I

СЕРЕЖЕ ГАНДЛЕВСКОМУ

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ НЫНЕШНЕЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ

*Марья, бледная, как тень, стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение бедного своего имущества. Она держала в руке *** талеров, готовясь купить что-нибудь, и не имея духа перебивать добычу у покупателей. Народ выходил, унося приобретенное. Оставались непроданными два портрета в рамах, замаранных мухами и некогда вызолоченных. На одном изображен был Шонинг молодым человеком в красном кафтане. На другом Христина, жена его, с собачкою на руках. Оба портрета были нарисованы резко и ярко. Гириц хотел купить и их, чтобы повесить в угольной комнате своего трактира, потому что стены были слишком голы...*

А.С.Пушкин

Ленивы и нелюбопытны,
бессмысленны и беспощадны,
в своей обувке незавидной
пойдем, товарищ, на попятный.

Пойдем, пойдем. Побойся Бога.
Довольно мы поблатовали.
Мы с понтом дела слишком много
взрывали, воровали, вдали

и веровали... Хва, Сережа.
Хорош базарить, делай ноги.
Харэ бузить и корчить рожи.
Побойся, в самом деле, Бога.

Давай, давай! Не хлюпай носом,
не прибедняйся, ёксель-моксель.
Без мазы мы под жертвы косим.
Мы в той же луже, мы промокли.

Мы сами напрудили лужу
со страха, сдуру и с устатку.
И в этой жиже, в этой стуже
мы растворились без остатка.

Мы сами заблевали тамбур.
И вот нас гонят, нас выводят.
Приехали, Сережа. Амба.
Стоим у гробового входа.

На посошок плесни в стаканчик.
Манатки вытряхни из шкапа.
Клади в фанерный чемоданчик
клифт и велюровую шляпу,

и дембельский альбом, и мишку
из плюша с латками из ситца,
и сберегательную книжку,
где с гулькин нос рублей хранится,

ракушку с надписью «На память
о самом синем Черном море»,
с кружком бордовым от «Агдама»
роман «Прощание с Матерой».

И со стены сними портретик
Есенина среди березок,
цветные фотки наших деток
и грамоту за сдачу кросса,

и «Неизвестную» Крамского,
чеканку, купленную в Сочи...
Лет 70 под этим кровом
прокантовались мы, дружочек.

Прощайте, годы безвременщины,
Шульженко, Лещенко, Черненко,
салатик из тресковой печени
и Летка-енка, Летка-енка...

Присядем на дорожку, зёма.
И помолчим... Ну все, поднялись.
Прощай, 101 наш километр,
где пили мы и похмелялись.

И мы уходим, мы уходим
неловко как-то, несуразно,
скуля и огрызаясь грозно,
бессмысленно и безобразно...

Но стоп-машина! Это слишком!
Да, мы, действительно, отсюда,
мы в этот класс неслись вприпрыжку,
из этой хавали посуды,

да, мы топтали эту зону,
мы эти шмотки надевали,
вот эти самые гандоны
мы в час свиданья разорвали,

мы все баклуши перебили,
мы всё в бирюльки проиграли...
Кондуктор, не спеши, мудила,
притормози лаптею, фраер!

Ведь там, под габардином, все же,
там, под бостоном и ватином,
сердца у нас, скажи, Сережа,
хранили преданность Святыням!

Ведь мы же как-никак питомцы
с тобой не только Общепита,
мы ж, ёксель-моксель, дети солнца,
ведь с нами музы и хариты,

Феб светозарный, песнь Орфея, —
они нас воспитали тоже!
И, не теряясь, не робея,
мы в новый день войдем, Сережа!

Бог Нахтигаль нам даст по праву
тираж Шенье иль Гумилева,
по праву, а не на халяву,
по сказанному нами слову!

Нет, все мы не умрем. От тлена
хоть кто-то убежит, Сережа!
«Рассказ» твой строгий — непременно,
и я, и я, быть может, тоже!

Мы ж сохранили в катакомбах
завет священный Аполлона,
несли мы в дол советский оба
огонь с вершины Геликона!

И мы приветствуем свободу,
и наострили наши лиры,
чтоб петь свободному народу,
чтоб нас любили и хвалили.

С «Памира» пачки ты нисходишь,
с «Казбека» пачки уношусь я,
и, «Беломор» минуя с ходу,
глядим мы на «Прибой». Бушуй же!

Давай, свободная стихия!
Мы вырвались!.. Куда же ныне
мы путь направим?.. Ах, какие
подвижки в наших палестинах!

Там, где сияла раньше «Слава
КПСС», там «Кока-кола»
горит над хмурою державой,
над дискотеккой развеселой.

Мы скажем бодро: «Здравствуй, племя
младое, как румяный персик,
нюю дженерэйшен, поколенье,
навекы выбравшее «Пепси»!

Ты накачаешься сначала,
я вставлю зубы поприличней.
В коммерческом телеканале
мы выступим с тобой отлично.

Ну, скажем, ты читаешь «Стансы»
весь в коже, а на заднем плане
я с группой герлс танцую танец
под музыку из фильма «Лайнер».

Кадр следующий — мы несемся
на мотоциклах иль на яхте.
Потом реклама — «Панасоник».
Потом мы по экрану трахнем

тяжелым чем-нибудь... Довольно.
Пойдем-ка по библиотекам!
Там будет нам светло и вольно,
уж там-то нас не встретят смехом.

Там по одежке нас встречает
старушка злобная шипеньем.
И по уму нас провожают
пинком за наши песнопенья.

Там нашу зыбкую музыку
заносит в формуляры скука.
Медведь духовности великой
там наступает всем на ухо.

Там под духовностью пудовой
затих навек вертлявый Пушкин,
поник он головой садовой —
ни моря, ни степей, ни кружки.

Он ужимается в эпиграф,
забит, замызган, зафарцован,
не помесь обезьяны с тигром,
а смесь Самойлова с Рубцовым.

Бежим скорей!.. И снова гвалтом
нас встретит очередь в «Макдональдс»,
«Интересуетесь поп-артом?» —
Арбат подвалит беспардонный.

И эротические шоу
такие нам покажут дива —
куда там бедному Баркову
с его купчихой похотливой!

Шварцнеггер выйдет нам навстречу,
и мы застынем холодея.
Что наши выпренные речи
пред этим торсом, этой шеей?

И в общем-целом, как ни странно,
в бараке мы уместней были,
чем в этом баре разлитом,
на конкурсе мисс Чернобыля...

И ничего не остается,
лишь уголь пылающий, чадающий.
Все чертовым жерлом пожретя.
В грядущем, прошлом, настоящем

нам места нет... Проходят съезды.
Растут преступность, цены, дети...
Нет, не пустует свято место —
его заполнили черти.

Но если птичку голосисту
сдавили грубой пятернею,
посмей хоть пикнуть вместо свисту!
Успей же, спой же, Бог с тобою!

Жрецам гармонии не можно
пленяться суетой, Серега.
Пусть бенкендорфно здесь и тошно,
но все равно — побойся Бога!

Пой! Худо-бедно, как попало,
как Бог нам положил на душу!
Жрецам гармонии не пристало
безумной черни клики слушать.

Давай, давай! Начнем сначала.
Не придирайся только к рифмам.
Рассказ пленительный, печальный,
ложноклассические ритмы.

Вот осень. Вот зима. Вот лето.
Вот день. Вот ночь. Вот Смерть с косою.
Вот мутная клубится Лета.
Ничто не ново под луною.

Как древле Арион на бреге,
мы сушим лиры. В матюгальник
кричит осведовец. С разбега
ныряет мальчик. И купальник

у этой девушки настолько
открыт, что лучше бы, Сережа,
перевернуться на животик...
Мы тоже, я клянусь, мы тоже...

II

УСАДЬБА

Теперь я живу дома, я хозяйка, и ты не поверишь, какое это мне истинное наслаждение. Я тотчас привыкла к деревенской жизни, и мне вовсе не странно отсутствие роскоши. Деревня наша очень мила. Старинный дом на горе, сад, озеро, кругом сосновые леса, все это осенью и зимою немного печально, но зато весной и летом должно казаться земным раем. Соседей у нас мало, и я еще ни с кем не виделась. Уединение мне нравится на самом деле, как в элегиях твоего Ламартина.

А.С.Пушкин

Ну, слава Богу, Александр Викентьич!
Насилу дождались! Здорово, брат!..
А это кто ж с тобой? Да быть не может!
Петруша! Петр Прокофьич, дорогой!
Да ты ли это, Боже правый?! Дочка!
Аглаюшка, смотри, кто к нам приехал!
Ах, Боже мой, да у него усы!
Гвардеец, право слово!.. Ну, входите,
входите же скорее!.. Петя, Петя!
Ну вылитый отец... Я, чай, уже
такой же сердцеед? О, покраснел!
Ну не сердись на старика, Петруша!
Так значит, все науки превзошел...
Аглаюшка, скажи, чтоб подавали...
А мы покамест суть да дело — вот,
по рюмочке, за встречу... Так... Грибочком
ее... Вот этак... А? Небось в столицах

такого не пивали? То-то, братец!
Маркеловна покойная одна
умела так настаивать... Что, Петя,
Маркеловну-то помнишь? У нее
ты был в любимцах. Как она варенье
варить затеет — ты уж тут как тут
и пеночки выпрашиваешь... Славно
тогда мы жили, господа... И что ж
ты делать собираешься — по статской
или военной линии? Какое
ты поприще, Петруша, изберешь?
А может, по ученой части? А?
Профессор Петр Прокофьев сын Чердынцев?
А что?!.. Но если правду говорить, —
принялся б ты хозяйствовать, дружок.
Совсем ведь захирело без присмотра
именье ваше... Ну-с, прошу к столу.
Чем Бог послал, как говорится... Глаша,
голубушка, вели еще кваску...
Именьице-то славное... Отец твой,
не тем помянут будь, пренебрегал
заботами хозяйственными, так он
и не привык за 20 лет. Но Марья
Петровна — вот уж истинно хозяйка
была — во все сама входила, все
на ней держалось. Шельмеца Шварцкопфа,
именьем управлявшего, она
уже через неделю рассчитала.
Подрядчики уж знали — сразу к ней...
А батюшка все больше на охоте...
Да... Царствие небесное... А я б
помог тебе на первый случай, Петя...
Да вот и Александр Викентьич тоже...
Его теплицы славятся на всю
Россию, а теперь и сыроварню
голландскую завел... грешно ведь, Петр.

Гнездо отцов, как говорится... Мы бы тебя женили здесь — у нас-то девки покраще будут петербургских модниц. Да вот Аглая хоть? Чем не невеста? Опять же по соседству... Александр Викентьевич, любезнейший, давай-ка еще по рюмочке... А помнишь, Петя, как ты на именины преподнес Аглае оду собственную, помнишь? «Богородице подобной нимфе и дриаде дубравы Новоселковской». Уж так смеялись мы... Ну как не помнишь, Петя? Тебе лет 10 было, Глаше 6. В тот год как раз мы с турком замирились, и я в отставку вышел... Оставайся, голубчик! Ну, ей-богу, чем не жизнь у нас?.. Вот и в журналах пишут, Петя, — Российское дворянство позабыло свой долг священный, почва, мол, крестьянство, совсем, мол, офранцузились, отсюда и разоренье, и социализм... Да-с, Петр Прокофьевич... Мы ведь здесь, в глуши, почитываем тоже, ты не думай, что вот медведь уездный... Мы следим за просвещеньем, так сказать, прогрессом, гуманностью... А как же? Вот гляди — «Европы Вестник», «Пчелка», «Сын Отечества», да, «Русский инвалид». Я сам читаю. Но больше для Аглаи... А забавно, я доложу вам, критики читать. Хотя оно подчас не все понятно, но так-то бойко... Вот барон Брамбеус в девятом номере отделявает — как то бишь его? — Кибиров (очевидно, из инородцев). Так и прописал — мол, господин Кибиров живописец

пошлейшей тривиальности, а также он не в ладах с грамматикой российской и здравым смыслом... Нынче мы прочли роман Вальтера Скотта — «Ивангэ». Презанимательная, доложу вам, вещь. Английская... А Глашенька все больше стишками увлекается. Давала мне книжечку недавно — «Сочиненья в стихах и прозе Айзенберга». Только я, грешным делом, мало что там понял. Затеяливо уж очень и темно... Оно понятно — немец!.. Вася Шишкин у нас в кадетском корпусе отлично изображал, как немец пиво пьет. Такой шалун был. А ведь дослужился до губернаторства... Назад тому три года его какой-то негодяй в театре смертельно ранил... Был бы жив Столыпин, порядок бы навел... А ты, Петруша, случайно не из этих?.. То-то нет... Грех, Петя, грех... И ладно бы купчишки, семинаристы, но ведь из дворянских, стариннейших семей — такой позор! Нет, не пойму я что-то вас, новейших... Да вот Аглая — вроде бы ничем Бог девку не обидел — красотою, умом и нравом, всем взяла, наукам обучена, что твой приват-доцент. Приданое — дай Боже всякой, Петя. А счастья нет... И все молчит, и книжки читает, и вздыхает... Года два назад из-за границы возвратился Навроцкий молодой, и зачастил он к нам. Все книги привозил и ноты. Аглая ожила. А мне, Петруша, он как-то не понравился, но все же

я б возражать не стал... А через две недели приезжает он под вечер какой-то тихий, сумрачный. А Глаша велит сказать, что захворала. После Палашку послала, я заметил, с письмом к нему... И все, Петруша, все! Я спрашивал ее: «А что ж не ездит к нам больше Дмитрий Палыч?» — «Ах, оставь-те,

откуда знать мне, папенька!»... Вот так-то... Э, Александр Викентьич, чур, не спать! Давай-ка, брат, Опрокидонт Иваныч! Давайте, Саша, Петенька, за встречу! Как дьякон наш говаривал: «Не то, возлюбленные чада, оскверняет, что входит к нам в уста, а что из уст исходит!»... Да-с, голубчик... Презабавный мне случай вспомнился — году в 30-м... Нет, дай Бог памяти... В 36-м. Или в 39-м? Под Варшавой наш полк стоял в то лето, господа. Вообразите — пыльное местечко, ученья бесконечные, жара анафемская, скука — хоть стреляйся! И никакого общества — поскольку окрестные пань не то что бал какой-нибудь задать — вообще ни разу не пригласили нас, что объяснимо, конечно, но обидно... Как обычно, мы собрались у прапорщика Лембке. Ну, натурально, выпивка, банчишко. Ничто, казалось бы, не предвещало каких-либо событий... Но уже к полуночи заметил я, что Бельский рассеян как-то, молчалив и странен... Но, впрочем, надобно Вам рассказать

подробнее о нем. У нас в полку он человек был новый — лишь неделю из гвардии он был переведен. За что — никто не знал. Ходили слухи о связи романической, скандале, пощечине на маскараде — толком никто не знал... И каково же было мое недоумение, когда, внезапно бросив карты... Э, готов уже наш Александр Викентьич, эх он рулады-то выводит... Заболтал я вас совсем, простите старика, пора на боковую. Так сказать, в объятия Морфея... Поздно, Петя... Ну что ж, покойной ночи, господа. Покойной ночи, спите, господа. Уснете вы надолго. Никогда вам не проснуться больше. Никогда в конюшнях барских не заржет скакун. Трезор, и Цыган, и лохматый Вьюн не встретят хриплым лаем пришлеца. Чувствительные не замрут сердца от песни Филомелы в час ночной. И гувернер с зажженной свечой не спустится по лестнице. И сад загубят и богатства расточат. И подпалят заветный флигелек. И в поседевший выстрелит висок наследник бравый. И кузина Кэт устроится пишбарышней в Совет. В тот самый год, России черный год, о коем вам пророчествовал тот убитый лейб-гусар. И никогда не навредит брусничная вода соседу-англоману. В старый пруд глядит луна — в солярку и мазут.

И линия электропередач
гудит под кровлей минводхозных дач.
Катушка из-под кабеля. Труба
заржавленная. Видно, не судьба.
Видать, не суждено. Мотоциклет
протарахтит и скроется. И свет
над фабрикою фетровой в ночи...
Прощай, ма шер. Молчи же, грусть, молчи.

III

ИЗ ЦИКЛА «МЛАДЕНЧЕСТВО»

*Мы вошли в комнаты. С трепетом
смотрел я вокруг себя, припоминая свои
младенческие годы. Ничто в доме не из-
менилось, все было на прежнем месте.*

А.С.Пушкин

1

Майский жук прилетел из дошкольных времен.
Привяжу ему нитку на лапку.
Пусть несет меня в мир, где я был вознесен
на закорки военного папки.

В забылицу о том, как я нравился всем,
в фокус-покус лучей обожанья,
в угол, где отбывал я — недолго совсем —
по доносу сестры наказанье.

Где страшнее всего было то, что убил
сын соседский лягушку живую
и что ревой-коровой меня он дразнил,
когда с ветки упал в крапиву я.

В белой кухне бабуля стоит над плитой.
Я вбегаю, обиженный болью.
Но поставлен на стул и читаю Барто,
первомайское теща застолье.

И из бани я с дедушкой рядом иду,
чистый-чистый под синей матроской.
Алычею зеленой объемя в саду,
перемажусь в сарае известкой.

Где не то что оправдывать, — и подавать
я надежды еще не обязан.

И опять к логопеду ведет меня мать,
и язык мой еще не развязан.

2

Я горбушку хлеба натру чесноком пахучим.
Я слюной прилеплю к порезу лист подорожника.
Я услышу рассказы страшные — про красные руки,
про кровавые пятна и черный-пречерный гроб!

Я залезу на дерево у кинотеатра «Зеленый»,
чтоб без спросу смотреть «Королеву бензоколонки».
За сараем закашляюсь я от окурка «Казбека»
и в сортире на Республиканской запомню рисунки.

А Хвалько, а Хвалько будет вечно бежать, а тетя Раиса
будет вечно его догонять с ремнем или прутиком.

3

Карбида вожделенного кусочки
со стройки стырив, наслаждайся вонью,
шипеньем, синим пламенем от спички
в кипящей луже, в полдень, у колонки.

По пыли нежной, августовской, желтой
айда купаться!.. Глы́боко, с головкой!..
Зовут домой — скорей, приехал дядя...
И в тот же самый день взлетел Гагарин.

Какой-то диафильм — слоны и джунгли,
индусы, лань волшебная — на синей
известке, и какие-то созвездья
мерцают между крон пирамидальных...

Еще я помню сказку и картинки —
коза, козлята, — только почему-то
коза звала их — мой Алюль, Билюль мой
и мой Хиштаки... Черт-те что... Не помню...

4

На коробке конфетной — Людмила,
и Руслан, и волшебник пленен.
Это детство само — так обильно,
вкусно, ярко... Когда это было?
Сослуживица мамы дарила
мне конфеты, а я был смущен.

День бескраен. Наш сад процветает,
потому что наш дедушка жив.
И на солнышке форму теряя,
пластилиновый конь умирает,
всадник тает, копье уронив.

Нет пока на ответы вопросов,
хоть уже и ужасно чуть-чуть.
Как мне жалко кронштадтских матросов,
окровавленный Павлик Морозов
так мучителен, что не заснуть.

Ух, фашисты, цари, буржуины!
Вот мой меч — вашу голову с плеч...
Но уже от соседской Марины
так мне грустно, хотя и невинно.
Уже скалится рифмами речь.

Скоро все это предано будет
не забвению, а просто концу.
И приду я в себя и в отчаянье,
нагрубив напоследок отцу.

Страшно все. Всех и вся позабудут.
Ничего же, пойми ты, не будет.
Но откуда — неужто оттуда? —
дуновенье тепла по лицу?

Я не знаю, чье это посланье,
указанье, признанье, воззванье, —
но гляди — все, как прежде, стоит —
в палисаднике мама стирает,
мы в кубинских повстанцев играем,
горяча черепица сараев,
стрекоза голубая блестит...
Эй, прощайте мне. Бог вас простит.



IV

ПОСЛАНИЕ ЛЕНКЕ

Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де ждут, щи простынут; слава Богу, ученье не уйдет; успеет накричатся». — Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена, — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузьмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша, — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да Богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

А.С.Пушкин

Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно, что невозможно практически это. Но надо стараться. Не поддаваться давай... Канарейкам свернувши головки, здесь развитой романтизм воцарился, быть может, навеки. Соколы здесь, буревестники все, в лучшем случае — чайки. Будем с тобой голубками с виньетки. Среди клекота злого будем с тобой ворковать, среди голодного волчьего воя будем мурлыкать котятами в теплом лукошке.

Не эпатаж это — просто желание выжить.

И сохранить, и спасти... Здесь, где каждая вшивая шавка хрипло поет под Высоцкого: «Ноги и челюсти быстры, мчимся на выстрел!» И, Господи, вот уже мчатся на выстрел, сами стреляют и режут... А мы будем квасить капусту, будем варенье варить из крыжовника в тазике медном, вкусную пенку снимая, назойливых ос отгоняя, пот утирая блаженный, и банки закручивать будем, и заставляя антресоли, чтоб вечером зимним, крещенским долго чай распивать под уютное ходиков пенье,
под завыванье за окнами блоковской вьюги.

Только б хватило нам сил удержаться на этом плацдарме, на пятачке этом крохотном твердом среди хлябей дурацких, среди стихии бушующей, среди девятого вала канализации гордой, мятежной, прорвавшей препоны и колобродящей 70 лет на великом просторе, нагло взметая зловонные брызги в брезгливое небо, злобно куражась... О, не для того даже, не для того лишь, чтоб спастись, а хотя б для того, чтобы в зеркало глядя, не испугались мы, не ужаснулись, Ленуля.

Здесь, где царит романтизм развитой, и реальный, и зрелый, здесь, где штамповщик любой, пэтэушник, шофер и нефтяник, и инженер, и инструктор ГУНО, и научный сотрудник, каждый буквально позировать Врубелю может, ведь каждый здесь клеветой искушал Провиденье, фигнею, мечтою каждый прекрасное звал, презирал Вдохновенье, не верил здесь ни один ни любви, ни свободе, и с глупой усмешкой каждый глядел, и хоть кол ты теши им — никто не хотел здесь благословить ну хоть что-нибудь в бедной природе.

Эх, поглядеть бы тем высоколобым и прекраснодушным, тем, презиравшим филистеров, буршам мятежным, полюбоваться на Карлов Мооров в любой подворотне!
Вот вам в наколках Корсар, вот вам Каин фиксатый
и Манфред,

вот, полюбуйте, Мельмот пробирается нагло к прилавку, вот вам Алеко поддатый, супругу свою матерящий! Бог ваш лемносский сковал эту финку с наборною ручкой! Врет Александр Алексаныч, не может быть злоба святою.

Здесь на любой танцплощадке как минимум две Карменситы, здесь в пионерской дружине с десятков Манон, а в подсобке здесь Мариула дарит свои ласки, и ночью турбаза стонет, кричит Клеопатрой бесстыжей!.. И каждый студентик литинститута здесь знает — искусство превыше морали. На семинаре он так и врезает надменно: «Эстетика выше морали бескрылой, мещанской!» И мудрый Ошанин, мэтр седовласый, ведущий у них семинары, с улыбкой доброю слушает и соглашается: «В общем-то, да». В общем-то, да... Уж конечно... Но мы с тобой все-таки будем Диккенса вслух перечитывать, и Честертона, и, кстати, «Бледный огонь», и «Пнина», и «Лолиту», Ленуля, и Леву будем читать-декламировать. Бог с ним, с де Садом...

Но и другой романтизм здесь имеется — вот он, голубчик, вот он сидит, и очки протирает, и все рассуждает, все не решит, бедолага, какая-токая дорога к Храму ведет, балалайкой бесструнную все тарыхтит он. И прерывается только затем, чтобы с липкой клеенки сбить таракана щелчком, — и опять о Духовности, Лена, и медитирует, Лена, над спинкой минтая.

А богоборцы, а богоискатели? Вся эта погань, вся достоевщинка родная? Помнишь, зимою в Нарыне в командировке я был? Там в гостинице номер двухместный, без унитаза, без раковины, но с эстампом ярчайшим, целых 3 дня и 2 ночи делил я с каким-то усатым мелиоратором, кажется, нет, гидротехником... В общем, что-то с водою и техникой связано... Был он из Фрунзе но не киргиз, а русак коренной. Поначалу спокойно жили мы, «Сопот» смотрели, его угощал я индийским

чаем, а он меня всякой жратвою домашней. Но на вторые сутки под вечер явился он с другом каким-то, киргизом, как говорится, ужратый в умат. И еще раздавили (впрочем, со мною уже) грамм 400 водки «Кубанской». Кореш его отвалил. И вот тут началось.

Начал икать он, Ленуля, а после он стал материться.

Драться пытался, стаканом бросался в меня, и салагой хуевым он обзывал меня зло, и чучмеком ебаным.

После он плакал и пел — как в вагонах зеленых ведется.

Я же — как в желтых и синих — помалкивал. «В Бога ты веришь? — вдруг спросил он. — Я, бля, говорю, в Бога веришь?» — «Ну, верю».

— «Верю! Нет, врешь, ты, бля, сука, не веришь!.. У, ебанный корень!

Не понимаешь ты, блядь! Я вот верю. Я, сука-бля, верю! Но не молюсь ни хуя! Не, ты понял, бля? Понял, суконка?«

— «Понял я, понял». — «А вот не пизди. Ни хера ты не понял.

Леха, бля, Шифер не будет стоять на коленях!!» Ей-богу не сочинил я ни капельки, так вот и было, как будто это Набоков придумал, чтоб Федор Михалыча насмерть несправедливо и зло задразнить... Так давай же стараться! Будем, Ленулька, мещанами — просто из гигиенических соображений, чтоб эту паршу, и коросту, и триппер не подхватить, не поплыть по волнам этим, женка.

Жить-поживать будем, есть да похваливать, спать-почивать будем,

будем герани растить и бегонию, будем котлетки кушать, а в праздники гусика, если ж не станет продуктов — хлебушек черненький будем жевать, кипяток с сахаринчиком. Впрочем, Бог даст, образуется все. Ведь не много и надо тем, кто умеет глядеть, кто очнулся и понял навеки, как драгоценно все, как все ничтожно, и хрупко, и нежно, кто понимает сквозь слезы, что весь этот мир несуразный

бережно надо хранить, как игрушку, как елочный шарик, кто осознал метафизику влажной уборки.

Выйду я утром с собачкою нашей гулять и, вернувшись, зонтик поставив сушиться, спрошу я: «Елена Иванна, в кулинарии на Волгина все покупали ромштексы. Свежие вроде бы. Может быть, взять?» — «Нет, ромштексы не надо.

Сало одно в них. Нам мама достала индейку. А что это как вы чудно произносите — кулинария?» — «А что ж тут, жёнка, чудного, так все говорят». — «Кулинария надо произносить, Тимур Юрьич, по правилам». —

«Ну насмешила!

Что еще за кулинария?» — «А вот мы посмотрим». —

«Давайте». —

«Вот вам, пожалуйста!» — «Где?.. Кулинария... Ну, я не знаю... Здесь опечатка, наверно».

И как-нибудь ночью ты скажешь: «Кажется, я залетела...» Родится у нас непременно мальчик, и мы назовем его Юрой в честь деда иль Ваней. Мы воспитаем его, и давай он у нас инженером или врачом, или сыщиком, Леночка, будет.

ВАРИАЦИИ

Барков заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из них скорее напишет оду. Сумароков заперся в своем кабинете, оставя Баркова в гостиной. Через четверть часа Сумароков выходит с готовой одою и не застаёт уже Баркова. Люди докладывают, что он ушел и приказал сказать Александру Петровичу, что-де его дело в ш л я п е. Сумароков догадывается, что тут какая-нибудь проказа. И в самом деле, видит на полу шляпу, и...

А.С.Пушкин

1

ПРОГУЛКА В ОКРЕСТНОСТЯХ ОДИНЦОВО

ЭЛЕГИЯ

Осенний ветер над нивой обнаженной.
 Расхлябанность дорог и нагота дерев.
 Над нашей Родиной уже не Божий гнев,
 но Божья скорбь... Убожеством блаженный,

навстречу люд идет, неся домой
 дары сельпо для жизни и веселья.
 В странах полуденных справляют новоселье
 станицы птиц, изгнанные зимой.

И монумент я вижу близ села,
 во славу ратников погибших посребренный.
 Но мгла сгущается, и, влагой отягченный,
 так низок небосвод, так жизнь невесела,

так смутно на душе... И вот кирза грузнеет
от косной тяжести земли моей родной.
И враны каркают — ужели надо мной?
И сумрак крадется, и дождь обиды сеет.

2

ОТРЫВОК ИЗ ИРОИ-КОМИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ
«РЯДОВОЙ МАСИЧ, ИЛИ ДЕМБЕЛЬСКИЙ
АККОРД»

За подвиг трудный сей герой предерзкий взялся
и тотчас в путь потек, лишь старшина убрался.
Счастливо избежав препоны патрулей,
он тихо постучал в дверь душеньки своей,
котора, быв женой майора, не гнушалась
любовью рядовых и часто утешалась
в объятьях Масича, когда майор лихой
дежурство нес в ночи. Но знай, читатель мой, —
у Масича резон в сей страсти был особый —
вино он брал у ней или гражданску робу.
Всяк ищет выгоды, уж так устроен свет.
Что пользы сетовать — святых меж нами нет...
И нынче, взяв полштоф джамбульского разлива,
герой в обратный путь стремится торопливо.
Меж тем в каптерке я и рядовой Дроздов,
томимы алчностью, ждем Вахковых даров...
Но, ослабляючись, майорша привлекает
его к своим грудям дебылым и вздыхает:
«Ах, милый, не спеш! Ужель ты так уйдешь
и страстью нежною моей пренебрежешь?»
В глубь комнаты меж тем героя увлекает

и вот уж на диван бесстыдно упадет.
Желаньем распален, мой Масич позабыл,
о чем сержант Стожук его предупредил.
Покровов лишено уже майорши лоно,
уж ноги пышные взметнулись на погоны,
уж наслаждение ея туманит взор...
Но ужас! Настежь дверь, и входит сам майор!

3

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ПСАЛМА

Созиди, Отче, чудеса
в душе моей, страстьми издранной,
как злым Бореем паруса,
безвдохновенной, бездыханной!
Я смраден, нищ, озлоблен, наг.
Молю не милости, не благ,
не нег роскошества, не славы —
дабы я жизнь благословил,
яви Себя мне, Боже Сил,
хоть гневом, казнью, хоть расправой!
Молю — да двинется гора
неверия, да снидет в душу,
вотще алкавшую добра,
Твое присутствие! Не струшу,
реку: Благословен Господь,
творящий щедро мысль и плоть!
О, существуй же, Боже правый!
Я стану неусыпно жить
и в звучных гимнах возносить
хвалу Тебе, меня создавый.

ПЕСНЯ ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ФИЛАЛЕТ И МЕЛОДОР»

Почто, о Лила, судьбы
нас встрече обrekli,
и для чего законы
нас разлучили вновь?

Твои я поцелуи
еще ловлю во снах,
но тщетно я томлюся
и токи слезны лью.

Минутна радость вянет,
как цветик полевой,
и счастье улетает,
как в осень соловей.

Пою днесь песнь печальну,
несчастливый певец,
и Борнгольм, милый Борнгольм
вспоминаю вновь.

Никто нам не поможет,
и тщетны все мольбы,
вкруг нас жестоки души
и хладные сердца.

О, хоть на миг явися,
любезнейшая тень,
хоть сон мой овевая
красою пеземной.

РОМАНС

Там, под сенью осеннего сада,
мы встречались, любовью горя.
О, как страстно, как долго лобзал я
пурпуровые губки ея!

И летели дни нашего счастья,
и, безумный, не чувствовал я,
что наполнены ядом измены
пурпуровые губки ея!

Вспоминаю, и слезы катятся!
Где ж ты, счастье, где младость моя?
О, кому ж они нынче лобзают,
пурпуровые губки ея?

ИДИЛЛИЯ. ИЗ АНДРЕЯ ШЕНЬЕ

Месяц сентябрь наступил. Вот с кошницами,
полными щедрых
матери Геи даров, возвращаются девы и слышат
стройные звуки — то баловень муз и Киприды,
юный пастух Эвфилой на свирели играет Силену,
старому другу, насмешнику и женолюбцу.

Сядем за трапезу, выпьем вино молодое.
Славный денек пусть сменяется вечером тихим.

Вовремя пусть перережут нить дней наших Парки.
В ночь благодатную мирно сойдем, как и жили.

О, как хотел бы я так, как придумал! О, как же мне мало
надобно было! О теплая, добрая зелень!

О золотые лучи уходящего солнца,
вечер, прохладу лиющий на томную землю!

О, как я вижу и слышу, как ладно язык мой подвешен!
Как же не вовремя все это сделали с нами, как страшно...
Всей и надежды — на Музу, на штиль столь высокий,
что не позволит унизиться... Слушай же, Хлоя.

7

Как неразумное дитя
все хнычет, попку потирает,
все всхлипывает, все не знает,
за что отшлепано, хотя

обкакалось, — душа моя,
не так ли ты сквозь слез взываешь
к Всевышнему и все не знаешь,
за что ж так больно бьют тебя.

VI

ДЕНИСУ НОВИКОВУ

ЗАГОВОР

Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой — русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет двадцати. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ним прибитая была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке.

А.С.Пушкин

Слышишь, капает кровь?

Кап-кап.

Спать. Спать. Спать.

За окном тишина. И внутри тишина.

За окном притаилась родная страна.

Не война еще, Диня, еще не война.

Сквозь гардины синее луна.

Тянет холодом из-за полночных гардин.

Надо б завтра заклеить. А, впрочем, один

только месяц остался, всего лишь один,

и весна... Не война еще, Динь.

Не война, ни хрена, скоро будет весна...

Слышишь? Снова послышалось, блин.

Слышишь, капает кровь?
Слышишь, хлюпает кровь?
Слышишь, темною стружкой течет?
Слышишь, горе чужое кого-то гребет?..
Сквозь гардины синее луна.
Спать пора. Скоро будет весна.
Спать пора. Новый день настает.

Нынче холодно очень. Совсем я продрог.
В коридоре сопит лопухий щенок.
Обгрызает, наверное, Ленкин сапог.
Надо б трепку задать.
Неохота вставать.
Ничего, ничего. Нормалек.

Тишина, тишина.
Темнота, темнота.
Ничего, ничего.
Ни фи́га, ни черта.
Спать пора. Завтра рано вставать.
Как уютно настольная лампа горит.
И санузел урчит.
Отопление журчит.
И внезапно во тьме холодильник рычит.
И опять тишина, тишина.
И луна сквозь гардины, луна.

Наверху у соседей какой-то скандал.
Там, как резаный, кто-то сейчас заорал.
Перепились, скоты... Надо спать.
Завтра рано вставать. Завтра рано вставать.
Лифт проехал. Щенок заворчал.
Зарычал и опять замолчал.

Кап да кап... Это фобии, комплексы, бред.
Это мании. Жаль, что снотворного нет.

Седуксенчику вмазать — и полный привет.
Кап да кап. Это кровь. Кап да кап.

Неужели не слышишь? Ну вот же! Сквозь храп,
слышишь? Нет? Разверзается хлядь.
И волною вздымается черная кровь.
Погоди, я еще не готов.

Погоди, не шуми ты, Дениска... Тик-так.
Тишина. За гардинами мрак.
Лишь тик-так, лишь напяр, лишь бессмысленный страх.
За гардинами враг. За гардинами враг.
Тишина. За гардинами враг.
Тик да так. Кап да кап. Тик да так.

Знать, вконец охренела моя голова.
Довели, наконец, до психушки слова.
Вот те счастье, Дениска, и вот те права.
Наплевать бы, да нечем плевать.

Пересохла от страха щербатая пасть.
Чересчур я замерз, чересчур я очкаст.
Как вблизи аномалии чуткий компас
все я вру. И Великий Атас,
и Вселенский Мандраж окружает кровать.
Окружает, подходит, отходит опять...
Может, книжку какую на сон почитать?
Или что-нибудь посочинять?
Надо спать. Завтра рано вставать.
Слышишь, кровь, слышишь, кровь,
слишишь, пенится кровь,
слышишь, льется, вздымается кровь?
Не готов ты еще? Говоришь, не готов?
Говоришь, надо вызвать ментов?
Вызывай. Только помни про кровь.

Кровь гудит, кровь шевелится, кровь говорит,
и хрипит, и стучится, кипит-голосит,
и куражится, корчится, кровь не простит.
Кровь не спит, говорю я, не спит!

Ах, как холодно. Как неохота вставать.
Кровь крадется в ночи, аки зверь, аки тать,
как на Звере Багряном Вселенская Блядь.
Слышишь, топот? Опять и опять
в жилах кровь начинает играть.

Не хватайся за крестик нательный в ночи.
«Отче наш» с перепугу во тьме не шепчи.
И не ставь пред иконой, Дениска, свечи.
Об линолеум лбом не стучи.

Слишком поздно уже, слишком поздно, Денис!
Здесь молись не молись, и крестись не крестись,
и постись, и в монахи стригись —
не поможет нам это, Денис!

Он не сможет простить. Он не сможет простить,
если Бог, — он не может простить
эту кровь, эту вонь, эту кровь, этот стыд.
Нас с тобой он не может простить.

И одно нам осталось — чтоб кровь затворить,
будем заговор древний творить.
Волхвовать, заговаривать, очи закрыть.
Говорить, говорить, говорить!

Повторяй же:
на море на том окияне,
на Хвалынском на море да на окияне,
там, Дениска, на острове славном Буяне,
среди темного лесу, на полой поляне,
там, на полой поляне лежит,

лежит бел-горюч камень прозваньем Алатырь,
там лежит Алатырь бел-горючий заклятый,
а на том Алатыре сидит,

красна девка сидит, непорочна девица,
сидит красна девица, швея-мастерица,
густоброва, Дениска, она, яснолица,
в ручке белой иголку держит.

В белой рученьке вострую держит иголку
и вдевает в булатную тую иголку
драгоценную нить шемаханского шелку,
рудожелтую, крепкую нить,
чтоб кровавые раны зашить.

Завяжу я, раб Божий, шелковую нить,
чтобы всех рабов Божиих оборонить,
чтоб руду эту буйную заговорить,
затворить, затворить, затворить!

Ты булат мой, булат мой, навеки отстань,
ты, кровь-матушка, течь перестань, перестань.
Слово крепко мое. Ты уймись, прекратись,
затворись, мать-руда, затворись.

VII

ЛИТЕРАТУРНАЯ СЕКЦИЯ

В сей крайности пришло мне на мысль, не попробовать ли самому что-нибудь сочинить? Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то, что было раз упущено, до 16 лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жидами да с маркитантами, играя на ободранных биллиардах и маршируя в грязи. К тому же быть сочинителем казалось мне так мудрено, так недосыгаемо нам, непосвященным, что мысль взяться за перо сначала испугала меня. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание мое встретиться с одним из них никогда не было исполнено? Но это напоминает мне случай, который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности.

А.С.Пушкин

Я не знаю, к кому обращаюсь, —
то ли к Богу, а может, к жене...
К Миле, к Семе... Прости мне, прощаюсь...
К жизни, что ли? Да нет, не вполне.

Но пойми, ты же все понимаешь,
смерть не тетка, и черт мне не брат.
Да, я в это выигрался, но, знаешь,
что-то стало мне стыдно играть.

Не до жиру. Пора наступает.
Не до литературы, пойми.
Что-то пропадом все пропадает,
на глазах осыпается мир.

Ты пойми, мне уже не до жиру.
Наступа... Наступила пора.
Обернулась тяжелая лира
бас-гитарой кабацкой. Пора.

Ах ты, литературочка, лапушка,
Н.Рубцов, Д.Самойлов и я.
Так лабайте под водочку, лабухи.
Распотешьте купчишек, друзья.

Помнишь, в фильме каком-то эсеры
разругались, и злой боевик
сбил пенсне трусоватому Штерну,
изрыгая презрительный крик:

«Ах ты, литературная секция!!»
Так дразнил меня друг Кисляков
в старших классах, и, руку на сердце
положа, — я и вправду таков.

Это стыдно — но ты же свидетель,
я не этого вовсе хотел!
Я не только ведь рифмы на ветер,
я и сам ведь, как дурень, летел!

Я ведь не в ЦДЛ собирался
порционные блюда жевать,
не для гранок и версток старался,
я, ты знаешь, я, в общем, спасать,

ну не смейся, ну хватит, спастись
и спастись я хотел, я готов
расплатиться сполна, расквитаться
не словами... Но что, кроме слов,

я имею? И этой-то мелочью
я кичился, тщеславный дурак...
В ресторанчике, ах, в цэдээлочке
вот те фирменных блюд преискурант:

и котлеточка одноименная,
за 2-20 с грибками рулет,
2-15 корейка отменная,
тарталеточки с сыром... Поэт!

Что, поэт? Закозлило?.. Пожалте
Вашу книжечку нам надписать!..
Пряча красный блокнотик под партой,
для того ль я учился писать?!

Ах ты, секция литературная,
отпусти ты меня, я не твой!
Ах ты, аудитория культурная,
кыш отсюда! Не стой над душой!

Стыдно... «Здрасьте! Вы кто по профессии?»
— «Я? Поэт!» — «Ах, поэт». — «Да, поэт!»
Не читали? Я, в общем, известный,
и талантливый кстати». — «Да нет,

не читал». — «А вот Тоддес в последнем
«Роднике»... Но клянусь, не о том
я мечтал в моей юности бедной,
о другом, о каком-то таком,

самом главном, что все оправдает
и спасет, ну хоть что-то спасет!
Жизнь поставит и смерть обыграет,
обмучлюет, с лихвою вернет.

Так какая же жалкая малость,
и какая бессильная спесь
эти буквы в толстых журналах,
что зовутся поэзией здесь!

Нет, не ересь толстовская это,
не хохла длинноносого бзик —
я хочу, чтобы в песенке спетой
был всемогущий вот этот язык!

Знаю, это кощунство отчасти
и гордыня. Но как же мне быть,
если, к счастью — к несчастью — к счастью,
только так я умею любить?

Потому что далеко-далеко,
лет в 13 попал в переплет,
фиолетовым пламенем Блока
запылала прыщавая плоть.

Первых строчек пьянящая мерность.
Филька бедненький был не готов,
чтобы стать почитателем верным
вот таких вот, к примеру, стихов:

«Этот синий, таинственный вечер
тронул белые струны берез,
и над озером...» Дальше не помню...
Та-та-та-та мелодия грез!»

И еще, и еще вот такие...
Щас... Минутку... «...в тоске роковой
попираю святыни людские
я своею безумной ногой!»...

Лет с 13 эти старанья.
Лет в 15 — сонетов венки.
И армейские пиздостраданья —
тома на два сплошной чепухи.

И верлибры, такие верлибры —
непонятны, нелепы, нежны.
Колыханье табачного нимба.
Чуткий сон моей первой жены.

И холодных потов утиранье,
рифмы типа «судьбе — КГБ»,
замирания и отмиранья,
смелость-трусость, борьбе-КГБ.

Но искал я, мятежный, не бури,
я хотел ну хоть что-то спасти...
Так вот в секцию литературную
я попался. Прощай же. Прости.

Вот сижу я и жду гонорара,
жду, что скажут Эпштейн и Мальгин...
Лира, лира моя, бас-гитара,
Аполлонишка, сукин ты сын.

Ничего я не спас, ничего я
не могу — все пропало уже!
Это небо над степью сухой,
этот запах в пустом гараже!

Мент любой для спасенья полезней,
и фотограф, и ветеринар!
Исчезает, исчезло, исчезнет
все, что я, задыхаясь, спасал.

Это счастье, глупости, счастье,
это стеклышко в сорной траве,
это папой подарены ласты,
это дембель, свобода, портвейн

З семерки, и нежное ухо,
и шершавый собачий язык,
от последних страниц Винни-Пуха
слезы помнишь? Ты вспомнил? И блик

фонаря в этих лужах, и сонный
теплый лепет жены, и луна!
Дребезжал подстаканник вагонный,
мчалась, мчалась навеки страна.

И хрустальное утро похмелья
распахнуло глаза в небеса,
и безделье, такое безделье —
как спасти это, как описать?

Гарнизонная библиотека,
желтый Купер и синий Марк Твен,
без обложки «Нана» у Олега...
Был еще «Золотистый» портвейн,

мы в пивной у Елоховской церкви
распивали его, и еще
вдруг я вспомнил Сопрыкину Верку,
как ее укрывал я плащом

от дождя, от холодного ливня
и хватал ее теплую грудь...
И хэбэшку, ушитую дивно,
не забудь, я молю, не забудь!

Как котенок чужой забирался
на кровать и все время мешал,
как в купе ее лик озарялся
полустанками, как ревновал

я ее не к Копернику, к мужу,
как в окошке наш тополь шумел,
как однажды, обрызган из лужи,
на свидание я не успел.

Как слезинка ее золотая
поплыла, отражая закат.
Как слетел, и слетает, слетает
липов цвет на больничный халат...

Все ты знаешь... Так что ж ты... Прощай же!
Ухожу. Я уже завязал...
Не молчи, отвечай мне сейчас же,
для чего ты меня соблазнял?

Чтоб стоял я, дурак, наблюдая,
как воронка под нами кружит,
чтоб сжимал кулачонки, пытаюсь
удержать между пальцами жизнь?..

Был у бабушки коврик, ты помнишь?
Волки мчались за тройкой лихой.
А вдали опускался огромный
диск оранжевый в снег голубой.

Так пойми же — теперь его нету!
И не надо меня утешать.
Волки мчались по санному следу.
Я не в силах об этом сказать.

Значит, все-таки смерть неизбежна,
и бессмысленно голос поет,
и напрасна прилежная нежность.
Значит, все-таки время идет...

На фига ж ты так ласково смотришь?
На фига ты балуешь меня?
Запрети быть веселым и гордым —
я не справлюсь, не справился я!

На фига же губой пересохшей
я шепчу над бумагой: «Живи!»,
задыха... задыхаясь, задохшись
от любви, ты же знаешь, любви!

И какому-то Гласу внимаю,
и какие-то чую лучи...
Ты же зна... Ты же все понимаешь!
Ты же знаешь! Зачем ты молчишь?

Все молчишь, улыбаешься тихо.
Папа? Дедушка? Кто ты такой?..
Может, вправду еще одну книгу?
Может, выйдет?.. А там, над рекой,

посмотри же, вверху, над Коньково,
над балхашскою теплой волной,
над булунскою тундрой суровой,
надо мной, над женой, над страной,

над морями, над сенежским лесом,
где идет в самоволку солдат,
там, над фабрикой имени Лепсе,
охуительный стынет закат!

К О Н Е Ц

Сортиры

1991 г.

Е. И. Борисовой

*Державин приехал. Он вошел
в сени, и Дельви́г услышал,
как он спросил у швейцара:
«Где, братец, здесь нужник?»*

ПУШКИН

1

Не все ль равно? Ведь клялся Пастернак
 насчет трюизмов — мол, струя сохранны.
 Поэзия, струись! Прохладный бак
 фаянсовый уж полон. Графомана
 расстройство не кончается никак.
 И муза, диспепсией обуянна,
 забыв, что мир спасает красота,
 зовет меня в отхожие места —

2

в сортиры, нужники, ватерклозеты
 etc. И то сказать, давно
 все остальные области воспеты
 на все лады возможные. Вольно
 осводовцам отечественной Леты
 петь храмы, и заимки, и гумно,
 и бортничество — всю эту халяву
 пора оставить мальчикам в забаву.

3

Равно как хлорофилл, сегмент, дисплей,
 блюз, стереопэмы — все, что ловко
 к советскому дичку привил Андрей
 Андреич. Впрочем, так же, как фарцовку
 огарками ахматовских свечей,
 обрывками цветаевской веревки,
 набоковской пылью. Нам пора
 сходить на двор. Начнем же со двора.

4

О, дай Бог памяти, о, дай мне, Каллиопа,
 блаженной точности, чтоб описать сей двор!

Волною разноцветного сиропа
там тянется июль, там на забор
отброшена лучами фильмоскопа
тень бабочки мохнатой, там топор
сидит, как вор, в сирени, а пила
летит из-за сарая, как стрела.

5

Там было все — от белого налива
до мелких и пятнистых абрикос,
там пряталась малиновая слива,
там чахнул кустик дедушкиных роз,
и вишня у Билибиных на диво
была крупна. Коротконогий пес
в тени беседки изнывал от скуки,
выкусывая блох. Тоску разлуки

6

пел Бейбутов Рашид по «Маяку»
в окне Хвалько. Короче — дивным садом
эдемским этот двор в моем мозгу
запечатлен навеки, вертоградом
Господним. Хоть представить я могу,
что был для взрослых он нормальным адом
советским. Но опять звенит оса,
шипит карбид, сияют небеса

7

между антенн хрущевских, дядя Слава,
студент КБГУ, садится вновь
в костюме новом на погранзаставу
из пластилина. Выступает кровь
после подножки на коленке правой.

И выступают слезы. И любовь
першит в груди. И я верчусь в кровати,
френч дедушкин вообразив некстати.

8

Но ближе к теме. В глубине двора
стоял сортир дощатый. Вот, примерно,
его размеры — два на полтора
в обоих отделеньях. И, наверно,
два с половиной высота. Дыра
имела форму эллипса. Безмерна
глубь темная была. Предвечный страх
таился в ней...Но, кстати, о горшках

9

я не сказал ни слова! Надо было,
конечно же, начать с ночных горшков,
и описать, как попку холодило
касание металла. Не таков
теперь горшок — пластмасса заменила
эмалевую гладкость, и цветов
уж не рисуют на боках блестящих.
И крышек тоже нету настоящих.

10

Как сказано уже, дышала тьма
в очке предвечным ужасом. В фольклоре
дошкольном эта мистика дерьма
представлена богато. Толстый Боря
Чумилин, по прозвищу Чума,
рассказывал нам, сидя на заборе,
о детских трупах, найденных на дне,
о крысах, обитавших в глубине

11

сортира, отгрызающих мгновенно
 мужские гениталии... Кошмар...
 Доселе я, признаюсь откровенно
 (фрейдист-голубчик, ну-ка не кемарь!),
 опаску ощущаю неизменно,
 садясь орлом... В реальности комар
 один зудел. Что тоже неприятно...
 Еще из песни помнится невнятно

12

смерть гимназистки некой... Но забыл
 я рассказать о шифере, о цвете,
 в который наш сортир покрашен был,
 о розоватом яблоневои цвете,
 который вешний ветер заносил
 в окошки над дверями, о газете
 республиканской «Коммунизгме жол»
 на гвоздике... а может, жул... нет, жол.

13

Был суриком, словно вагон товарный,
 покрашен наш сортир. Когда бы Бог
 мне даровал не стих неблагодарный,
 а кисть с мольбертом, я бы тоже смог,
 как тот собор Руанский кафедральный
 живописал Монэ, сплести венки
 пейзажный из сортира — утром чистым
 еще не жарким, ярким и росистым,

14

когда пирамидальный тополь клал
 тень кроны на фасад его, и в жгучий

июльский полдень — как сиял металл
горячих ручек, и Халид могучий
на дочку непослушную орал,
катавшуюся на двери скрипучей,
и крестовик зловещий поджидал
блистающую изумрудом муху
под шиферною крышей, и старуху

15

хакуловскую медленно вела
к сортиру внучка взрослая и долго
на солнцепеке злилась и ждала.
А на закате лучик, ярче шелка
китайского, и тонкий, как игла,
сочился сзади сквозь любую щелку,
и остывал спокойный небосвод
в окошке с перекладиной. Но вот

16

включали свет, и наступала темень
в окошке и вообще во всем дворе.
И насекомых суетное племя
у лампочки толклось, а у дверей
светились щели... Впрочем, эта тема
отдельная. Любимый мой хорей
тут подошел бы более... В Эдеме,
как водится, был змий. В моей поэме

17

его мы обозначим Саша Х.
Ровесниками были мы, но Саша
был заводилой. Не возьму греха
на душу — ни испорченной, ни гаже

он не был, но труслива и тиха
была моя натура, манной кашей
размазанная. Он же был смелей
и предприимчивей. И, может быть, умней.

18

Поэтому, когда пора настала,
и наш животный ужас пред очком
сменился чувством новым, он нимало
не медля, не страшась, приник зрачком
к округлым тайнам женского начала,
воспользовавшись маленьким сучком
в сортирной стенке... И боренье долга
с преступным чувством продолжалось долго

19

в моей душе — но наконец я пал
перед соблазном сашкиных рассказов
и зрелищ любострастных возалкал.
Лет 7 нам было. В чайньи экстазов
неведомых я млея и трепетал.
В особенности Токишева Аза
(я вынужден фамилию изменить —
еще узнает, всяко может быть)

20

влекла нас, — очевидно, потому,
что мы чутьем звериным уловляли
вокруг нее таинственную тьму
намеков, сплетен. У Хохловой Гали
она квартировала. Почему
в греховности ее подозревали,
неясно. Разведенкою была
она. К тому ж без своего угла.

От тридцати до сорока, а может,
и меньше было ей. Огромный бюст,
шиньон огромный, нос огромный тоже.
Тугой животик, нитка алых бус.
Метр пятьдесят с шиньоном. На «Искоже»
она была бухгалтершей. Но пусть
читатель лучше вспомнит крышку пудры
с портретом Карменситы чернокудрой.

И мы подстерегли ее! Когда
она, как мусульманке подобает,
с кувшином серебристым (лишь вода,
отнюдь не целлюлоза, очищает
ислама дочерей) вошла туда,
куда опять — увы — не поспевает
тройная рифма, я за Сашкой вслед
шмыгнул в отсек соседний... Сколько лет

прошло, а до сих пор еще мне страшно
припомнить это — только Сашка смог
сучок проклятый вытащить, ужасный
раздался крик, и звон, и плеск! Мой Бог,
остолбенев, я видел, как напрасный
крючок был сорван бурей, как Сашок
пытался мимо проскользнуть взбешенной
бухгалтерши, как оживлялся сонный,

залитый солнцем двор... Я был спасен
каким-то чудом. Почему-то Аза

заметила лишь Сашку... Как же он был выпорот! Никто меня ни разу так не порол. А после заточен он был в сарай до ночи. Впрочем, сразу уже под вечер следующего дня к окошкам бани он манил меня.

25

Но тщетно... Представляю, как злорадно из «Обозренья книжного» О.М. посмаковал бы случай этот. Ладно. Неинтересно это. Между тем есть столько интересного! Отрадно Пегасу на раздолье свежих тем резвиться и пастись — пускай немного воняет, но уж лучше, чем дорога

26

шоссейная, где тянется обоз усталых кляч... И, кстати, о дорогах! Пыхтит и пахнет сажей паровоз, не списанный еще. Давай-ка трогай, и песню не забудь, и папирос дым голубой в вагоне-ресторане ты не забудь, и жидкий чай в стакане

27

с барочным подстаканником, и взгляд в окне кромешном двойника смешного, и как во тьме мучительно храпят в купе соседнем, как проходишь снова в конец вагона, и бредешь назад, прочтя дугой начертанное слово

безжалостное «Занято», но вот
свободно, наконец. И настает

28

блаженства миг. И не забудь про ручку
удобную на стенке, чтобы ты
не грохнулся со стульчака, про тучки
в приспущенном окошке, красоты
необычайной, мчавшиеся кучно
со скоростью экспресса из Читы,
покуда ты, справляя напряженно
нужду большую, смотришь удивленно

29

на схему труб и кранов на стене.
Так не забудь! — Клянусь, что не забуду.
— Теперь нажми педаль. Гляди — на дне
кружок открылся, стук колес оттуда
ворвался громкий и едва ли не
тревожный ветер странствий... Но кому-то
уже приспичило... Ты только не забудь
мельканье шпал в кружочке этом... Путь

30

воздушный ждет теперь нас. Затхлый запах,
химически тоскливый, на борту
Аэрофлота ожидает. Трапы
отъехали. И вот гудящий Ту
парит над облаками. Бедный папа
идет меж кресел, к моему стыду,
с моим гигиеническим пакетом
в конец салона... Этим туалетам

я посвящу не более строфы.
 Упомяну лишь дверцу. И, конечно,
 цвет жидкости, смывающей в эфир
 земные нечистоты плоти грешной.
 И все. Немного северней Уфы,
 внедрившись внутрь равнины белоснежной,
 идем мы на снижение. Силуэт
 планера украшает мой пакет.

Сестра таланта, где же ты, сестрица?
 Уж три десятка строф я миновал —
 а описал покамест лишь крупицу
 из тех богатств, что смутно прозревал
 я сквозь кристалл магический. Вертится
 нетерпеливый Рубинштейн. Бокал
 влечет Сережу. Надо бы прерваться.
 Итак, антракт и смена декораций.

Ну что ж, продолжим. Вот уже угри
 язвительное зеркало являет.
 Они пройдут не скоро. Но смотри —
 полярное сиянье разливает
 свой пламень над поселком Тикси-3,
 и пышный Ломоносов рассуждает
 о Божием Величии не зря,
 когда с полночных стран встает заря!

На берегу моря Лаптевых, восточней
впадения Лены, гарнизон стоял.
Приехали туда мы летом. Сочный
аквамарин соленый оттенял
кумач политрабoты и сверхсрочный
линялый хаки. Свет дневной мешал
заснуть, и мама на ночь прикрепляла
к окну два темно-синих одеяла

солдатских. Мы вселились налегке
в барак длиннющий. За окошком сопки
из Рокуэлла Кента. Вдалеке
аэродром. У пищеблока робко
крутился пес мохнатый, о Клыке
напомнив Белом. Серебрились пробки
от «Питьевого спирта» под окном
общаги лейтенантской, где гуртом

герои песен Визбора гуляли
после полетов. Мертвенный покой
родимой тундры чутко охраняли
локаторы. Стройбат долбил киркой
мерзлоты вековечные. Пылали
костры, чтоб хоть немного ледяной
грунт размягчить. А коридор барака
загроможден был барахлом, однако

в нем жизнь кишела — бегали туда-
сюда детишки, и со сковородкой

с кусками оленины (никогда
я не забуду этот вкус) походкой
легчайшею шла мама, и вражда
со злыми близнецами Безбородко
мне омрачила первые деньки.
Но мы от темы слишком далеки.

38

Удобств, конечно, не было. У каждой
двери стояла бочка с питьевой
водою. Раз в неделю или дважды
цистерна приезжала с ледяной,
тугой, хрустальной влагою... Пока что
никак не уживаются со мной
злодейки-рифмы — две еще приходят,
но — хоть ты тресни — третью не приводят!..

39

А туалет был размещен в сенях.
Уже не помню, как там было летом.
Зимой толстый иней на стенах
белел, точней, желтел под тусклым светом.
Арктический мороз вгрызался в пах
и в задницу, и лишь тепло одетым
ты мог бы усидеть, читатель мой,
над этой ледовитою дырой.

40

Зато зловонья не было, и проще
гораздо было яму выгребать.
Якут зловещий, темнолицый, тощий,
косноязычно поминавший мать
любых предметов, пьяный, как извозчик,

верней, как лошадь, пьющий... Я читать тогда Марк Твена начал — он казался индейцем Джо, и я его боялся...

41

Он приходил с киркой и открывал дверь небольшую под крыльцом, и долго стучал, и бормотал, и напевал. А после желто-бурые осколки на санки из дюраля нагружал и увозил куда-то, глядя волком из-под солдатской шапки. Как-то раз, напившись, он... Но требует рассказ

42

введенья новых персонажей. Пара супружеская Крошкиных жила напротив кухни. Ведал муж товаром на складе вещевом. Его жена служила в Военторге. Он недаром носил свою фамилию, но жирна и высока была его Лариса Геннадиевна. Был он белобрысый

43

и лысоватый, а она, как хром начищенный. Среди прапорщиков... Здравсте! Какие еще прапоры?! Потом, лет через 10, эта злая каста название приобретет с душком белогвардейским. А сосед очкастый, конечно, старшиною был. Так вот, представь, читатель, не спеша идет

в уборную Лариса. Закрывает дверь на щеколду. Ватные штаны с невольным содроганием снимает. Садится над дырою. Тишины ничто не нарушает. Испускает она струю... Но тут из глубины ее за зад хватают чьи-то руки!.. И замер коридор, заслышав звуки

ужасные. Она кричала так, что леденела в жилах кровь у самых отважных офицеров, что барак сотрясся весь, и трепетные мамы детей к груди прижали! Вой собак напуганных ей вторил за стенами! И, перейдя на ультразвук, она ворвалась в коридор. В толпе видна

была мне белизна такого зада, какого больше не случилось мне увидеть никогда... Посланцем ада, ты угадал, читатель, был во сне обмоченный индеец Джо... Громада ларисинога тела по стене еще сползала медленно, а Крошкин, лишь подтянув штаны ее немножко,

схватил двустволку, вывалился в дверь с клубами пара... Никого... Лишь вьюга

хохочет в очи... Впрочем, без потерь особенных все обошлось — подруга сверхсрочника пришла в себя, теперь не помню, но, наверно, на поруки был взят ассенизатор. Или суд товарищеский претерпел якут.

48

А вскоре переехали мы в новый пятиэтажный дом. Мела пурга. Гораздо выше этажа второго лежал сугроб. Каталась мелюзга с его вершины. И прогноз суровый по радио нас вовсе не пугал, а радовал — занятия отменялись. И иногда из школы возвращались

49

мы на армейском вездеходе. Вой метели заглушен был мощным ревом бензина... А веселый рядовой со шнобелем горбатым и багровым, наверно, обмороженным пургой, нас угощал в курилке и суровым измятым «Северком», и матерком. Благодаря ему я был знаком

50

уже тогда с Высоцким, Окуджавой, и Кукиным, и Городницким. Я тогда любил все это... Тощей павой на сцену клуба выплывала, чья уже не помню, дочка. Боже правый!

Вот наступает очередь моя —
со сцены я читаю «Коммунисты,
вперед!»... Вещь славная... Теперь ее речистый

51

почтенный автор пишет о тоске
по внучке, что скипнула в Сан-Франциско.
Ей трудно жить от деда вдалеке,
без Коктебеля, без родных и близких.
Но все же лучше там, чем в бардаке
родимом, и намного меньше риска.
И больше колбасы. За это дед
клянет Отчизну... Через столько лет

52

аплодисменты помню я... В ту пору,
чуть отрок, я пленен был навсегда
поэзией. «Суд памяти» Егора
Исаева я мог бы без труда,
не сбившись, прочитать на память. Вскоре
я к «Братской ГЭС» припал. Вот это да!
Вот это книжка!.. Впрочем, также страстно
я полюбил С. Михалкова басни.

53

Но вредную привычку приобрел
в ту зиму я — читать на унитазе.
Казнь Разина я, помнится, прочел
как раз в подобной позе. Бедный Разин!
Как он хотел добра, и как же зол
неблагодарный люд! Еще два раза
в восторге пиитическом прочел
я пятистишья пламенные эти.
И начал третий. «Сколько в туалете, —

отцовский голос я услышал вдруг, — сидеть ты будешь?!» Папа был уверен, что я страдал пороком тайным. Вслух не говорил он ничего. Растерян, я ощущал обиду и испуг, когда отец, в глаза мне глядя, мерно стучал газетой по клеенке. Два учебных года отойдут сперва,

каникулы настанут — подозренья папаши оправдаются тогда. Постыдные и сладкие мгновенья в дыру слепую канут без следа в сортире под немолчное гуденье огромной цокотухи. Без сомненья, читатель понял, что опять А.Х. увлек меня на поприще греха.

Пора уже о школьном туалете речь завести. Затянемся бычком коротким от болгарской сигареты, припрятанным искусно за бачком на прошлой переменке. Я отпетый уже вполне, и папа Челкашем меня назвал в сердцах. Курить в затяжку учу я Фильку, а потом и Сашку.

Да нет, конечно, не того! Того я потерял из вида. В Подмосковье

теперь живем мы. Воин ПВО
чуть-чуть косой, но пышущий здоровьем
глядит со стенда строго. Половой
вопрос стоит. Зовется он любовью.
Пусть я басист в ансамбле «Альтаир»,
но автор «Незнакомки» мой кумир.

58

И вот уж выворачивает грубо
мое нутро проклятый «Солнцедар».
Платком сопливым вытирая губы,
я с пьяным удивленьем наблюдал
над унитазом в туалете клуба
боренье двух противных ниагар —
струй белопенных из трубы холодной
с кроваво-красной жижей пищеводной.

59

Прости меня, друг юности, портвейн!
Теперь мне ближе водки пламень ясный.
Читатель, ждет уж рифмы Рубинштейн,
или Эпштейн, или Бакштейн. Напрасно.
К портвейну пририфмуем мы сырок
«Волна» или копченый сыр колбасный.
Чтоб двести грамм вобрал один глоток,
винтом раскрутим темный бутылек.

60

Год 72-й. Сквозь дым пожаращ
электropоезд движется к Москве.
Горят леса, и тлеет торф. Товарищ,
ты помнишь ли? В патлатой голове
от зноя только тяжесть, ты завалишь

экзамены, а мне поставят две пятерки. Я переселюсь в общагу. А ты, Олежка, строевому шагу

61

пойдешь учиться следующей весной... Лишь две из комнат — Боцмана и наша — мужскими были. Весь этаж второй был населен девицами — от Маши скромнейшей до Нинельки разбитной. И, натурально, сладострастья чашу испил я, как сказал поэт, до дна. Но помнится мне девушка одна.

62

Когда и где, в какой-такой пустыне ее забуду? Твердые соски под трикотажной кофточкою синей, зовущейся «лапшою», вопреки зиме суровой крохотное мини и на платформе сапоги-чулки. В горячей тьме топчась под Джо Дассена, мы тискали друг друга откровенно.

63

А после я уламывал своих сожителей уйти до завтра. Пашка не соглашался. Наконец одних оставили нас. Потную рубашку уже я скинул и, в грудях тугих лицом зарывшись, торопливо пряжку одной рукой отстегивал, другой уже лаская холмик пуховой.

И, наконец, сорвав штаны, оставшись уже в одних носках, уже среди девичьих ног, уже почти ворвавшись в промежуток мрак, уже на полпути к мятежным наслаждениям, задравши ее колени, чуя впереди, как пишет Цвейг, пурпурную вершину экстаза, и уже наполовину,

представь себе, читатель! Не суди, читательница! Я внезапно замер, схватил штаны и, прошептав: «Прости, я скоро!», изумленными глазами подружки провожаемый, пути не разбирая, стул с ее трусами и голубым бюстгалтером свалив, дверь распахнул и выскочил, забыв

закрыть ее, помчался коридором пустым. Бурление адское в кишках в любой момент невыносимым позором грозило обернуться. Этот страх и наслаждение облегчением скорым заставили забыть желанный трах на время. А когда я возвратился, кровать была пуста. Еще курился

окурочек с блестящею каймой в стакане лунном. И еще витали

ее духи. И тонкою чертой
на наволочке волос. И печали
такой, и тихой нежности такой
не знал я. И потом узнал едва ли
пять раз за 18 долгих лет...
Через неделю, заглянув в буфет,

68

ее я встретил. Наклонясь к подруге,
она шепнула что-то, и вдвоем
захохотали мерзко эти суки.
Насупившись, я вышел... Перейдем
теперь в казарму. Строгий храм науки
меня изгнал, а в мае военком...
Но все уже устали. На немножко
прерваться надо. Наливай, Сережка!

69

Ну вот. Продолжим. Мне давалась трудно
наука побеждать. Никак не мог
я поначалу какать в многолюдном
сортире на глазах у всех. Кусок
(то бишь сержант) с улыбкой абсолютно
беззлобно разглядывал толчок
и говорил спокойно: «Не годится.
Очко должно гореть!» И я склониться

70

был должен вновь над чертовой дырой,
тереть, тереть, тереть и временами

в секундный сон впадать, и, головой
ударившись, опять тереть. Ручьями
тек грязный пот. И в тишине ночной
я слышал, как дурными голосами
деды в каптерке пели под баян
«Марш дембельский». Потом они стакан

71

мне принесли: «Пей, салабон!» С улыбкой
затравленную я глядел на них.
«Не бойся, пей!» В моей ладони липкой
стакан дрожал. Таких напитков злых
я не пивал до этого. И зыбко
все сделалось, все поплыло в моих
глазах сонливых к вящему веселью
дедов кирных. На мокрый пол присел я

72

и отрубился... Надобно сказать,
что, кроме иерархии, с которой
четвертый год сражается печать,
но победит, я думаю, не скоро,
среди каждого призыва угадать
не трудно и вассалов, и сеньоров,
и смердов, т.е. есть среди салаг
совсем уж бедолаги, и черпак

73

не равен черпаку, и даже деду
хвост поджимать приходится, когда
в неуставных китайских полукедах
и трениках является беда
к нам в строй, как незаконная комета,

из самоволки, то есть вся среда казарменная сплошь иерархична. Что, в сущности, удобно и привычно

74

для нас, питомцев ленинской мечты. Среди салаг был всех бесправней Жаров Петруша. Две коронки золотых дебильная улыбка обнажала. На жирных ручках и лице следы каких-то постоянных язв. Пожалуй, он не глупее был, чем Ванька Шпак, иль Демьянчук, иль Масич, и никак

75

уж не тупее Леши Пятакова, но он был ростом меньше всех и толст, и грязен фантастически. Такого Казарма не прощает. Рыхлый торс полустарушечий и полуподростковый и на плечах какой-то рыжий ворс в предбаннике я вижу пред собою с гадливой и безвыходной тоскою.

76

Он плавать не умел. Когда старлей Воронин нас привел на пляж солдатский, он в маечке застиранной своей остался на песке сидеть в дурацкой и трогательной позе. Солоней воды морской был среднеазиатской озерной влаги ласковый прибор. И даже чайки вились над волной.

А из дедов крутейшим был дед Жора,
 фамилии не помню. Невысок
 и, в общем, не силен он был, но взора
 веселого и наглого не мог
 никто спокойно выдержать, и свору
 мятежных черпаков один плевком
 сквозь стиснутые зубы образумить
 сумел однажды ночью. Надо думать,

он на гражданке сел. А на плече
 сухом и загорелом деда Жоры
 наколочка синела — нимб лучей
 над женской головой. «Ты мое горе»
 гласила надпись. Вместо кирзачей
 он офицерский хром носил. Майора
 Гладкова пышнотелую жену
 он совратил. И не ее одну.

Я был тогда и вправду салабоном.
 В окне бытовки пламенел рассвет.
 Степная пыль кружилась над бетоном.
 А вечером был залит туалет
 и умывалка золотом червонным.
 Все более червонным. Сколько лет
 сияет этот кафель! Как красивы
 сантехники закатной переливы!..

Однажды я услышал: «Эй, боец!
 Не запаadlo, слетай-ка за бумажкой

для дедушки!» — и понял, что крантец мне настает. Дед Жора, тужась тяжело, сидел с ремнем на шее. Я не лжец и не хвастун — как все салаги с фляжкой в столовую я бегал для дедов, и койки заправлял, и был готов

81

по ГГС ответить за храпящих сержантов на дежурстве. Но сейчас я понял, что нельзя, что стыд палящий не даст уснуть, и что на этот раз не отвертеться — выбор настоящий я должен сделать. «Слушай, Фантомас, (так звал он всех салаг) умчался мухой! Считаю до одиннадцати!» Глухо

82

стучало сердце. Медленно прошел я в ленинскую комнату. Газету я вырвал из подшивки. Как тяжел был путь обратный. И минуту эту нельзя мне забывать. И тут вошел в казарму Петя. И, схвативши Петю за шиворот, я заорал: «Бегом! Отнес бумагу Жоре!» — и пинком

83

придал я Пете ускоренье... Страшно и стыдно вспоминать, но в этот миг я счастлив был. И весь багаж бумажный, все сотни благородных, умных книг не помогли мне поступить отважно

и благородно. Верный ученик
блатного мира паханов кремлевских,
я стал противен сам себе. Буковский

84

который раз садился за меня...
Но речь не обо мне. Поинтересней
предметы есть, чем потная возня
нечистой совести, чем жалобные песни
советского интеллигента, дня
не могущего провести, хоть тресни,
без строчки. В туалетах, например,
рисунки! Сколько стилей и манер

85

разнообразных — от условных палок
и треугольников до откровенных поз
совокупленья. Хохлома, и Палех,
и Гжель, и этот, как его, поднос,
конечно же, красивее беспалых,
безглазых этих пар. И все же нос
не стоит воротить — быть может, эти
картинки приоткроют нам секреты

86

искусства настоящего. Вполне
возможно, механизм один и тот же...
А надписи? Нет места на стене
свободного. И, Господи мой Боже,
чего тут только нет. Неловко мне
воссоздавать их. Буду осторожен.
Квартирных объявлений бойкий слог
там очень популярен — номерок

дается телефонный и глаголы
 в первом лице, в единственном числе —
 хочу, сосу, даю. И подпись: Оля
 или Марина. В молодом козле,
 выпускнике солнечногорской школы,
 играло ретивое, на челе
 пот выступил, я помню, от волнения.
 Хоть я не верил в эти объявленья.

Встречались и похабные стишки
 безвестных подражателей Баркова.
 И зачастую даже потолки
 являли взору матерное слово:
 всем тем, кто ниже ростом, шутники
 минетом угрожали. Но сурово
 какой-то резонер грозил поэту,
 который пишет здесь, а не в газету!..

Вот, в сущности, и все. Давно пора
 мне закругляться. Хоть еще немало
 в мозгу моем подобного добра —
 и липкий кафель Курского вокзала,
 и на простынке смертного одра
 носатой утки белизна, и кала
 анализ в коробке, и турникет
 в кооперативном платном нужнике.

И как сияла твердь над головою,
 когда мочился ночью на дворе,

как в электричке мечешься порою
и вынужден сойти, как в январе
снег разукрашен яркою мочою,
как злая хлорка щиплет в ноздре,
как странно надпись «Требуйте салфетки»
читать в сортире грязном, как конфетки

91

из всякого дерьма творит поэт.
Пускай толпа бессмысленно колеблет
его треножник. Право, дела нет
ему ни до чего. Он чутко внемлет
веленьям — но кого? Откуда свет
такой струится? И поэт объемлет
буквально все и первую любовь
ко всякой дряни ощущает вновь.

92

«Гармония есть цель его». Цитатой
такой я завершаю опус мой.
Или еще одной — из Цинцинната.
Цитирую по памяти — Земной...
нет, мировой... всей мировой проклятой...
всей немоте проклятой мировой
назло сказать... нет, высказаться... Точно
не помню, к сожаленью... Но построчно

93

когда бы заплатили — хоть по два
рубля, — я получил бы куш солидный.
Уже семь сотен строк. Пожалуй, хва.
Кончаю. Перечесть немного стыдно.
Мной искажалась строгая строфа

не раз. Знаток просодии ехидный
заметит незаконную стопу
шестую в ямбах пятистопных. Пусть

94

простит Гандлевский рифмы. Как попало
я рифмовал опять. Сказать еще?
И тема не нова — у Марциала
смотри, Аристофана и еще
наверно, у Менандра. И навалом
у Свифта, у Рабле... Кого еще
припомнить? У Гюго канализация
парижская дана. Цивилизацией

95

ватерклозетов Запад обозвал,
по-моему, Леонтьев. Пушкин тоже
об афедроне царском написал
и о хвостовской оде. И Алеша
в трактире ужасался и вздыхал,
когда Иван, сумняшеся ничтоже,
его вводил в соблазн, ведя рассказ
о девочке в отхожем месте. Вас,

96

быть может, удивит, но Горький окал
об испражнении революционных толп
в фарфор... Пропустим Белого и Блока...
А вот Олеша сравнивает столп
библейский с кучкой кала невысокой.
Таксист из русских деликатен столь,
что воду не спустил. И злость душила
бессильная эстетика-педофила.

И Вознесенский пишет, что душа — санузел совмещенный... Ну, не знаю. Возможно... Я хочу сказать — прощай, читатель. Я на этом умолкаю. Прощай, читатель, помнишь обещаю!.. Нет! Погоди немного! Заклинаю, еще немного! Вспомнил я сейчас о том, что иногда не в унитаэ

урина проливается. О влажных простынках я ни слова не сказал. Ну согласись, что это крайне важно!.. Однажды летней ночью я искал в готическом дворце многоэтажном уборную. И вот нашел. И стал спокойно писать. И проснулся тут же во мгле передрагсветной, в теплой луже.

Я в пятый класс уже переходил. Случившееся катастрофой было. Я тихо встал и простыню скрутил. На цыпочках пошел. Что было силы под рукойником я выводил пятно. Меж тем светало. И пробили часы — не помню сколько. Этот звон таинственным мне показался. Сон,

казалось, длился. Потихоньку вышел я из террасы. Странно освещен

был призрачный наш двор (смотрите выше
подробнее о нем). И небосклон
уже был светел над покатою крышей
сортирною. И мною пробужден,
потягиваясь, вышел из беседки
коротконогий пес. Качнулись ветки

101

под птицею безвучной. На песке
следы сандалий... Улица пустынна
была в тот час. Лишь где-то вдалеке
протарахтела ранняя машина...
На пустыре, спускавшемся к реке,
я встретил солнце. Точно посредине
пролета мостового, над рекой
зажглось, и пролилось, и — Боже мой! —

102

пурпурные вершины предо мною
воздвиглись! И младенческая грудь
таким восторгом и такой тоскою
стеснилась! И какой-то долгий путь
открылся, звал, и плыло над рекою,
в реке дробилось, и какой-нибудь
искал я выход, что-то надо было
поделать с этим! И пока светило

103

огромное всходило, затопив,
расплавив мост над речкой, я старался
впервые в жизни уловить мотив,
еще без слов, еще невинный, клялся
я так и жить, вот так, не осквернив
ни капельки из этого!.. Менялся

цвет облаков невысказанных. Стоял
пацан босой, и ветер оведал

104

его лицо, трепал трусы и челку...
Нет. Все равно. Бессмысленно. Прощай.
Сейчас я кончу, прохрипев без толку:
«Поэзия!..» И, в общем, жизнь прошла,
верней, проходит. Погляди сквозь щелку,
поплачь, посмейся. Вот и все дела.
Вода смывает жалкие листочки.
И для видений тоже нет отсрочки —

105

лирический герой встает с толчка,
но автор удаляется. Ни строчки
уже не выжмешь. И течет река
предутренняя. И поставить точку
давно пора. И, в общем, жизнь легка,
как пух, как пыль в луче. И нет отсрочки.
Прощай, А. Х., прощай, мой бедный друг.
Мне страшно замолчать. Мне страшно вдруг

106

быть поглощенным этой немотою.
И ветхий Пушкин падает из рук.
И Бейбутов тяжелою волною
уже накрыт. Затих последний звук.
Безмолвное светило над рекою
встает. И веет ветер. И вокруг
нет ни души. Один лишь пес блохастый
мне тычется в ладонь слюнявой пастью.

К О Н Е Ц

СОДЕРЖАНИЕ

С. Гандлевский. Сочинения Тимура Кибирова 5

ЛИРИКО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

- Послесловие к книге «Общие места» 15
Поэма «Жизнь К.У.Черненко»
 Глава I. Пастушок 21
Из поэмы «Песни стилияги»
 I. Летний вечер 23
 II. Песнь о сервелате 27
 III. Ветер перемен 30
Поэма «Жизнь К.У.Черненко»
 Глава II. У далеких берегов Амура 33
 Глава III. В списках не значился 36
Дитя карнавала 38
Поэма «Жизнь К.У.Черненко»
 Глава IV. «Ради жизни на земле» 45
Христорологический диптих
 Часть 1 47
 Часть 2 49
Поэма «Жизнь К.У.Черненко»
 Глава V. Речь товарища К.У.Черненко
 на юбилейном пленуме Союза Писателей СССР
 25 января 1984 года
 /по материалам журнала «Агитатор»/ 51
Лесная школа 53
Послесловие к книге
«Лирико-дидактические поэмы» 62

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСНЬ КВАРТИРАНТА

Рождественские аллегории. I	69
Песня остается с человеком	
1. Зачин	71
2. КСП	73
3. «Шаганэ, ты моя Шаганэ»	75
4. Песнь о Ленине	77
5. Песня первой любви	80
Рождественские аллегории. II	83
В рамках гласности. 1	85
В рамках гласности. 2	89
В рамках гласности. 3	92
В рамках гласности. 4	93
Рождественские аллегории. III	95
Глупости	
Часть I	97
Часть II	99
Часть III. Рождественская песнь квартиранта	101
Рождественские аллегории. IV	105
Буран. Поэма.	107

СКВОЗЬ ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛЕЗЫ 125

ТРИ ПОСЛАНИЯ

Л. С. Рубиншейну	159
Любовь, комсомол и весна. Д.А.Пригову	185
Художнику Семену Файбисовичу	193

СТИХИ О ЛЮБВИ

- От автора 207
Эклога 211
Баллада о деве Белого плеса 213
Романсы Черемушкинского района /1, 2/ 219
Баллада о солнечном ливне 221
Романсы Черемушкинского района /3, 4/ 223
Баллада об Андрюше Петрове 226
Романсы Чермушкинского района /5/ 230
Элеонора. Поэма 232
Эклога 246

САНТИМЕНТЫ

- Вместо эпитафия. Из Джона Шейда 253
Мише Айзенбергу
Эпистола о стихотворстве 255
Эпитафии бабушкиному двору
Первая 261
Русская песня. Пролог. 263
Эпитафии бабушкиному двору
Вторая 267
К вопросу о романтизме 269
Русская песня 275
Эпитафии бабушкиному двору
Третья 282
Воскресение 284
Эпитафии бабушкиному двору
Четвертая 292

ПОСЛАНИЕ ЛЕНКЕ И ДРУГИЕ СОЧИНЕНИЯ

Сереее Гандлевскому

О некоторых аспектах
нынешней социокультурной ситуации 297

Усадьба 305

Из цикла «Младенчество» 312

Послание Ленке 317

Вариации

1. Прогулка в окрестностях Одинцова. Элегия 322

2. Отрывок из ирои-комической поэмы
«Рядовой Масич или Дембельский аккорд» 323

3. Переложение псалма 324

4. Песня из к/ф «Филалет и Мелодор» 325

5. Романс 326

6. Идиллия из Андрея Шенье 326

7. «Как неразумное дитя...» 327

Денису Новикову. Заговор 328

Литературная секция 333

СОРТИРЫ 343

Кибиров Т. Ю.

**К 38 Сантименты /Восемь книг/
Белгород. РИСК, 1993.—384 с.
ISBN 5-8489-0010-8**

В книге талантливого современного поэта Тимура Кибирова впервые под одной обложкой собрано практически все написанное автором с 1986 по 1991 год.

К $\frac{4702010202-01}{\Phi 12(03)-93}$ Без объявл.

ББК 84Р7-5

**Тимур Юрьевич
Кибиров**

САНТИМЕНТЫ
(восемь книг)

**Редактор Ю. Г. Агарков
Художник М. Е. Зайцев
Корректор Е. И. Борисова**

**Компьютерный набор МП «ИВИКС»
Лицензия ЛР № 061213.**

Подписано в печать 26.02.93 г.
Формат 70x100 1/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Уч.-изд. л. 12.
Заказ 477. Тираж 10 000 экз. С — 10.

**Коммерческо-издательский центр «РИСК»
308007, Белгород, Мичурина, 56.**

**Московская тип. № 4 Комитета РФ по печати.
129041, Москва, Б. Переяславская, 46.**

